

# Осквернитель праха

**Автор:**

Уильям Катберт Фолкнер

Осквернитель праха

Уильям Катберт Фолкнер

Йокнапатофская сага Эксклюзивная классика (АСТ)

Действие романа «Осквернитель праха» из «Йокнапатофского цикла» разворачивается в вымышленном округе Йокнапатофе, воплотившем, однако, все реальные особенности и проблемы американского Юга.

Лукаса Бичема, темнокожего фермера, ошибочно обвиняют в убийстве белого человека. Кажется, его судьба предрешена: впереди ждет линчевание. Но неожиданно в его жизнь врывается Чик Мэллисон – белый паренек, которого Лукас спас несколько лет назад, вытащив из-под льда. Чтобы раскрыть преступление и добиться справедливости, тот готов даже вырыть могилу, в которой похоронена жертва, и стать осквернителем праха...

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Уильям Фолкнер

Осквернитель праха

© William Faulkner, 1948

© Перевод. М. Богословская, наследники, 2009

\* \* \*

## Глава первая

Это было в то воскресенье, ровно в полдень шериф подъехал к тюрьме с Лукасом Бичемом, хотя весь город (да уж если на то пошло, весь округ) еще со вчерашнего вечера знал, что Лукас убил белого человека.

Он стоял и ждал. Он пришел первым и теперь топтался на месте, стараясь придать себе занятой или хотя бы ни к чему не причастный вид, укрывшись под навесом запертой кузницы, через дорогу, напротив тюрьмы, где его дядя, если он пойдет через Площадь, или, вернее, когда он пойдет за одиннадцатичасовой почтой через Площадь, может, и не заметит его.

Потому что он тоже знал Лукаса Бичема – так же, как его знал всякий из живущих здесь белых. И, пожалуй, даже если не считать Карозерса Эдмондса, на ферме которого в семнадцать милях от города жил Лукас, лучше многих других, потому что он однажды ел в доме Лукаса. Это было в самом начале зимы, четыре года тому назад; ему тогда было только двенадцать лет, и вот как это случилось. Эдмондс дружил с его дядей; они вместе слушали курс в университете, где дядя изучал дополнительные правовые вопросы после того, как вернулся из Гарварда и Гейдельберга и собирался выставить свою кандидатуру в адвокаты окружного суда, и вот за день перед тем Эдмондс приехал в город повидать дядю по каким-то там окружным делам и остался у них ночевать, а когда вечером сели ужинать, Эдмондс сказал ему:

– Едем со мной завтра утром, пойдешь охотиться на зайцев. – И тут же его маме: – А под вечер завтра я его отправлю домой. А на охоту, пока он с ружьем будет, я с ним пошлю парнишку одного с фермы. – И, повернувшись к нему, добавил: – Собака у него очень хорошая.

– У него свой есть парнишка, сверстник, – сказал дядя, а Эдмондс спросил:

– А он что, тоже охотится на зайцев?

И дядя сказал:

– Мы пообещаем, что он не будет мешать вашему.

И вот на следующее утро он и Алек Сэндер поехали с Эдмондсом к нему домой. Утро было холодное, первые зимние заморозки, зеленые изгороди застыли недвижимые, заиндевевшие, стоячая вода в канавах по обочинам дороги затянулась льдом, и даже быстротечный рукав реки на Девятой Миле подернулся у берегов тоненькой пленкой, сверкающей и хрупкой, словно волшебное стекло, а как только они проехали первую ферму, а потом еще и еще, на них дохнуло без ветра едкой горечью дыма, а позади домов на дворах видны были уже окутанные паром чугунные котлы, и женщины, все еще в летних соломенных или старых мужских фетровых шляпах и длинных мужских пальто, подкладывали под них дрова, а мужчины в передниках из мешковины, подвязанных проволокой поверх комбинезонов, оттачивали ножи или уже возились в загоне, где хрюкали и визжали свиньи, не то что испуганные или застигнутые врасплох, но просто настороженные и словно уже смутно осознавшие свой жирный неминуемый удел; к ночи все дворы будут увешаны их призрачными цельными, лоснящимися от сала полыми бледными тушами, схваченными за задние ноги и словно остановленными в бешеном стремительном беге к центру земли.

И он просто понятия не имел, как это с ним случилось. Сын одного из арендаторов Эдмондса, постарше и много выше Алека Сэндера, который, в свою очередь, был больше его самого, хотя они были однолетки, уже ждал их в доме с собакой, настоящей охотничьей собакой на зайцев, из породы гончих, не совсем чистой, но почти черно-пегой, с желтыми подпалинами, может быть, чуть-чуть с примесью пойнтера, где-то у предков, сразу видно – хватала, негритянская собака, у которой есть что-то родственное, что-то общее с зайцем, так же вот, как некоторые говорят, что у негра есть что-то общее с мулом; а у Алека Сэндера был железный костыль, этакий болт с нарезкой, которым сцепляют рельсы, насаженный на отпиленный конец толстой палки от метлы, и Алек так ловко метал его, что он у него летел, как пуля из ружья, и попадал в зайца на бегу; и вот они все втроем – Алек Сэндер и мальчик Эдмондса с болтами, а он с ружьем – пошли через парк и потом наперерез лугом, чтобы перейти рукав в том месте, где сын фермера знал переход по бревну, и он сам не знал, как это с ним случилось такое, что могло бы случиться ну разве

с девчонкой, ей это было бы простительно, но уж никак никому другому, он шел по бревну, нисколько не думая об этом – мало ли он хаживал по самому верху ограды по узкой перекладине вдвое длиннее этого бревна, – и вдруг ни с того ни с сего привычная солнечная зимняя земля перевернулась под ним, и он, распластавшись, но не выпуская ружья из рук, полетел стремглав не от земли, а от ясного неба, он вот и сейчас помнит тонкий звонкий хруст ломающегося льда и как он даже ничего не почувствовал, когда очутился в воде, а только когда уже вынырнул на воздух. А ружье он выронил, и ему пришлось снова нырнуть, чтобы найти его, снова из ледяного воздуха погрузиться в воду, которой он все еще не чувствовал, холодная она или нет, и даже его насквозь промокшая одежда – сапоги, толстые штаны, свитер, охотничья куртка – вовсе не чувствовалась в воде как тяжелый груз, а только стесняла в движениях, и он поднял ружье, и, еще раз нащупав дно, оттолкнулся, и, молотя по воде одной рукой, подплыл к берегу, шагнул по воде и, уцепившись за сук ивы, вытянул руку с ружьем, и кто-то ухватил его с берега – по-видимому, мальчик Эдмондса, потому что в этот самый миг Алек Сэндер ткнул его концом длинного шеста, толстого, как кол, и сшиб с ног, и он опять ушел с головой в воду и чуть было не выпустил из рук и ветку, за которую держался, но тут чей-то голос сказал:

– Убери кол с дороги, чтобы не мешал вылезть, – просто какой-то голос, не потому, что это не мог быть ничей другой, кроме как Алека Сэндера или Эдмондсова мальчика, а потому, что сейчас было все равно; цепляясь теперь уже обеими руками, он выбирался из ивняка, и тоненький льдистый налет, покрывавший деревья, ломался, звеня и хрустя, осыпаясь ему на грудь, одежда его теперь была словно свинцовая обертка, он не двигался в ней, а был завернут в нее, как в пончо или в просмоленный брезент, так он карабкался по откосу и увидел перед собой две ступни, две ноги в резиновых сапогах, ноги не Алека Сэндера и не Эдмондсова мальчика, потом ноги до колен и штаны, заправленные в сапоги, и тут он вылез на берег, встал и увидел негра с топором на плече, в толстой овчинной куртке и в светлой широкополой фетровой шляпе, какую когда-то носил дедушка, – он стоял и смотрел на него; так первый раз, насколько он помнит, он увидел Лукаса Бичема, и, наверно, это было первый раз, потому что Лукас был не из тех, кого забывают; едва переводя дух, трясаясь всем телом и только теперь чувствуя знобь от ледяной воды, он смотрел на это лицо, которое глядело на него без всякого участия, жалости или каких-либо других чувств, даже без удивления; просто глядело, ведь тот, кому принадлежало это лицо, не двинул пальцем, чтобы помочь ему выбраться из воды, напротив, велел Алеку Сэндеру убрать кол, что как-никак было единственной попыткой оказать ему помощь; лицо это, как ему показалось, принадлежало человеку лет под пятьдесят, может быть – даже не больше сорока, если бы не эта шляпа

и не глаза, и человек этот был чернокожий, негр, но это было все равно двенадцатилетнему, продрогшему до мозга костей мальчику, который все еще никак не мог отдышаться и от потрясения и от того, что он совсем выбился из сил, к тому же то, что проступало на этом лице, не имело никакой окраски, даже в той малой доле, какая бывает у белого, – оно не было ни заносчиво, ни презрительно: просто неподатливо и спокойно.

Тут мальчик Эдмондса что-то сказал этому человеку и произнес имя – что-то вроде мистер Лукас, и тогда он понял, кто это, и вспомнил все остальное из этой истории, представлявшей собой кусок или часть летописи здешнего края, которую мало кто, да никто, пожалуй, не знал так, как его дядя: как этот человек был сыном одного из рабов прадеда Эдмондса, старого Карозерса Маккаслина, и раб этот был не просто рабом, а и сыном старого Карозерса; и вот он стоял, трясясь всем телом, и, как ему казалось, уже не одну минуту, а этот человек стоял и смотрел на него с ничего не выражающим лицом. Потом этот человек повернулся и сказал, даже не оглянувшись через плечо, а уже на ходу, даже не замедлив шага, не поглядев, слышали ли они, уж не говоря о том, послушались ли:

– Идем ко мне.

– Я к мистеру Эдмондсу пойду, – сказал он.

Человек этот даже не обернулся. Даже ничего не возразил.

– Возьми его ружье, Джо, – сказал он.

Итак, он, и мальчик Эдмондса, и Алек Сэндер пошли за ним гуськом по берегу реки к мосту и на дорогу. Его скоро перестало трясти; он только чувствовал, что продрог и промок насквозь, да и это, наверно, скоро прошло бы, надо было только не переставать двигаться. Они перешли мост. Впереди уже виднелись ворота, откуда въездная аллея поднималась по склону и вела через парк к дому Эдмондса. До него оставалось примерно с милю; наверно, он бы совсем высох и согрелся, пока дошел, и он все еще уверял себя, что вот он сейчас повернет в ворота, и, даже когда ему стало ясно, что он не повернет, уже не повернул, уже прошел мимо, он все еще говорил себе, что это только потому, что Эдмондс – хотя Эдмондс был холостяк и у него в доме не было женщин, – сам Эдмондс может не пустить его никуда, пока не отправит домой к маме, и так

он и продолжал себя уверять, хотя уже давно понял, что все дело в том, что он просто не может послушаться этого человека, так же как он не мог послушаться своего деда, и вовсе не из какого-нибудь страха и не оттого, что ему потом за это достанется, а потому, что, как его дед, вот так же и этот человек, шагавший впереди, не допускал и мысли, что какой-то мальчишка-подросток осмелится прекословить ему или не послушаться его.

Так что он даже не замедлил шага, когда они поравнялись с воротами, даже не посмотрел в ту сторону, когда они шли мимо, и вот теперь они свернули, не то чтобы на обыкновенную тропинку, которая ведет из усадьбы к хижинам крестьян-арендаторов или дворовой прислуги и всегда хорошо утоптана, а просто в какую-то расщелину, где то ли рытвина, то ли колея ползла уединенно вверх по склону, и вид у нее был такой же неподатливый – не подступись, – и тут он увидел домик-хибарку и вспомнил продолжение этой истории, этой летописи о том, как отец Эдмондса сделал дарственную своему чернокожему двоюродному брату, передав в вечное владение ему и его наследникам этот домик и десять акров земли, на которой он стоял, – продолговатый клочок, навечно вклинившийся в середину плантации в две тысячи акров, точно почтовая марка, наклеенная на середину конверта, – некрашеный деревянный домишко, некрашеный забор-частокол; все так же не останавливаясь, не оглядываясь, прошел, толкнув ее на ходу коленкой, а следом за ним он, затем Алек Сэндер и мальчик Эдмондса гуськом вошли во двор. Можно было представить себе, что он даже и летом был без единой травинки, совсем голый – ни листика, ни стебелька, каждое утро кто-нибудь из женщин в доме Лукаса подметал здесь метелкой из связанных веником ивовых прутьев, оставляя сложные завихрения и спирали, которые по мере того, как двигался день, медленно и постепенно искажались, загаженные куриным пометом, испещренные загадочными трехпалыми отпечатками, словно земная поверхность в миниатюре (так ему теперь вспомнилось в шестнадцать лет) в эру гигантских ящеров, и они все четверо пошли по какому-то не то что проходу – собственно, это была просто утоптанная глина, – узенькая, прямая как стрела дорожка между высившимися с обеих сторон залежами консервных жестянок, бутылок, битой фаянсовой посуды и торчавшими из земли глиняными черепками вела к некрашеному крыльцу и некрашеной терраске, вдоль которой тоже были свалены жестянки, но уже побольше, пустые галлоновые ведерца, в которых когда-то держали патоку, а может быть, краску, дырявые ведра для воды или молока, пятигаллоновый бидон для керосина с продавленным верхом и половина того, что было некогда баком для нагревания воды из чьей-то кухонной плиты (наверно, Эдмондсовой) – оторванная вдоль, как кожура с банана, – прошлым летом сквозь нее проросли цветы, и сейчас еще торчали

мертвые стебли и хрупкие высохшие тычинки, а за всем этим и самый дом, серый, обшарпанный и не то что некрашенный, а какой-то неподатливый, не приемлющий краску, отчего он казался не только единственно возможным продолжением мрачной нерасчищенной дороги, но венчающим ее завершением, как листья аканта на капителях греческих колонн.

Не останавливаясь, человек поднялся на крыльцо, прошел через террасу, открыл дверь, вошел, а за ним следом – он, мальчик Эдмондса и Алек Сэндер; полутемная передняя, даже совсем темная после яркого солнечного света, и сразу же запах, запах, который он безоговорочно считал всю жизнь чем-то присущим всякому дому, где живут люди, у которых в жилах хоть капля негритянской крови, так же как он всегда считал, что всякий человек по фамилии Мэллисон должен быть непременно методистом, и тут они вошли в спальню: голый, истертый, совершенно чистый, некрашенный пол без всяких дорожек, в одном углу – покрытая ярким лоскутным одеялом большая кровать под балдахин, наверно стоявшая в доме Маккаслина, и старый, дешевый, обшарпанный буфет из мебельного магазина в Грэнд-Рэпидсе – и в первую минуту как будто все или почти все; только потом уже он заметит или вспомнит, что видел заставленную каминную полку и на ней керосиновую лампу, расписанную от руки цветами, и вазу, набитую свернутыми в трубку обрывками газет, а над каминной полкой – цветную литографию с календарем трехлетней давности, на которой Покахонтас в мокасирах и украшенном перьями и бахромой одеянии вождя племени сиу или чиппева стоит у мраморной балюстрады и смотрит в сад с чинными кипарисами, а в полутемном углу, напротив кровати, на золоченом мольберте в толстой деревянной золоченой раме – цветной портрет, на котором изображены двое. Но портрета он пока еще не видел, потому что был к нему спиной, а сейчас он видел только камин – камин из неотесанного камня, промазанного глиной, в котором чуть тлело наполовину зарытое в серой золе большое обгорелое полено, а рядом с камином в качалке сидела девочка, так ему показалось сначала, пока он не увидел лица, а тогда он даже остановился, чтобы разглядеть ее, потому что ему вдруг показалось, вот-вот он сейчас вспомнит что-то еще, что ему рассказывал дядя о Лукасе Бичеме или, во всяком случае, в связи с ним, и, глядя на нее, он только теперь подумал, какой он, должно быть, на самом деле старый, потому что это была крохотная старушка, чуть ли не кукольных размеров, гораздо темнее, чем он, в фартуке, в накинутой на плечи шали, а голова ее была повязана белоснежной косынкой, поверх которой была надета цветная соломенная шляпа с какой-то отделкой. Но он так и не мог вспомнить, что такое ему рассказывал или говорил дядя, а потом ему даже стало казаться, что он просто все спутал и никто ему ничего не рассказывал; и он сидел в кресле прямо перед камином, в котором мальчик

Эдмондса разводил огонь, пихая туда чурки и сосновые щепки, а Алек Сэндер, присев на корточки, стаскивал с него мокрые сапоги и штаны, а потом он встал, и его высвободили из куртки, и свитера, и рубахи, и им обоим приходилось приседать и изворачиваться, чтобы не задеть человека, который стоял у камина, спиной к огню, расставив ноги все еще в резиновых сапогах и даже не сняв шляпы, а только скинув толстую овчинную куртку, а потом перед ним снова эта старушка, такая маленькая, меньше даже, чем он и Алек, а ведь им только двенадцать, и на руке у нее другое пестрое лоскутное одеяло.

- Снимай все! - сказал человек.

- Нет, я... - начал было он.

- Снимай все, - повторил человек.

И он стащил с себя мокрое белье и сейчас же снова очутился в кресле, теперь уже перед ярко полыхавшим огнем, закутанный в одеяло, как кокон, и весь обволокнутый этим безошибочно различимым среди всех других запахом негров, запахом, о котором ему никогда и в голову не пришло бы задуматься, не случись того, что должно было с ним случиться через какой-то небольшой промежуток времени, который теперь уже исчислялся минутами, так бы он и в могилу сошел, не удосужившись подумать, а не является ли этот запах вовсе не прирожденным запахом расы и даже не нищеты, а скорее состояния, сознания, убеждения, приятия, пассивного приятия ими самими вот этого убеждения, что им, неграм, вовсе и не положено иметь какие-либо удобства, чтобы мыться как следует, или мыться часто, или хотя бы просто позволить себе полоскаться и размываться даже и безо всяких удобств, и что, в сущности, оно даже предпочтительней, чтобы они этого не делали. Но ни тогда, ни даже теперь еще этот запах ровно ничего не значил для него; до того, что с ним тогда произошло, еще должен был пройти час, и пройдет еще четыре года, прежде чем он поймет, во что все это разрослось и как повлияло на него, и только уже совсем взрослым он по-настоящему поймет и признает, что и он считал, что так оно и должно быть. А сейчас он сам просто вдохнул этот запах и тут же перестал его замечать, потому что он свыкся с ним, ведь он всю жизнь нюхал его изо дня в день и будет нюхать и дальше; а жизнь его до сих пор в значительной мере проходила в хижине Парали, матери Алека Сэндера, жившей у них во дворе, там они с ним играли в плохую погоду, и Парали, готовя еду для дома, в промежутке между завтраком и обедом пекла им лепешки, и они с Алеком ели их вместе - и тот и другой с одинаковым аппетитом; он даже не мог представить себе такого

существования, которое вдруг раз и навсегда лишилось бы этого запаха. Он вдыхал его испокон веков и всегда будет вдыхать; этот запах был частью его неотвратимого прошлого, ценной частью его наследия как южанина; ему не надо было даже отгонять его от себя, он просто давно уже перестал замечать его, как старый курильщик не замечает запаха своей прокуренной трубки, который стал такой же принадлежностью или частью его одежды, как пуговицы и петли; так он сидел и даже немножко дремал в теплой, окутывавшей его вони одеяла, один раз он чуть-чуть насторожился, услышав, как мальчик Эдмондса и Алек Сэндер, сидевшие на корточках у стены, поднялись и вышли из комнаты, – но только чуть-чуть – и сейчас же снова провалился в теплую одеяльную вонь, а над ним, по-прежнему спиной к огню, заложив руки за спину и совсем такой же, каким он увидел его, когда только что вылез из речки, если не считать того, что он был сейчас без своей овчинной куртки и без топора и держал руки за спиной, стоял человек в резиновых сапогах и вылинявшем рабочем комбинезоне, в каких ходят негры, но с солидной золотой цепочкой от часов, свисавшей из нагрудного кармана; еще когда они только вошли в комнату, он заметил, как этот человек, повернувшись к заставленной каминной полке, достал с нее что-то и сунул себе в рот, и только потом он уже разглядел, что это такое: золотая зубочистка, точь-в-точь такая же, какая была у дедушки, и шляпа на нем была поношенная, но кастровая, ручной выделки, такие вот заказывал себе дедушка и платил за них тридцать – сорок долларов, и она не была плотно надета на голову, а словно едва держалась, сдвинутая чуть-чуть набок над темным, как у негра, лицом, но с прямым и даже с горбинкой носом, а то, что глядело из этого лица или проступало на нем, было не черным, не белым, не надменным и даже не презрительным, а просто непреклонно-неподатливым и невозмутимым.

Тут Алек Сэндер вернулся с его одеждой, уже высушенной и еще горячей от плиты, и он оделся, притопывая, с трудом влез в свои зажухлые сапоги, а мальчик Эдмондса опять уселся на корточки у стены и что-то доедал с руки, и он сказал:

– Я пойду обедать к мистеру Эдмондсу.

А тот человек ничего не возразил и не поддакнул, он даже не шевельнулся, даже не посмотрел на него. Он только сказал непререкаемо и спокойно:

– Она уж все положила.

И он прошел мимо старушки, которая посторонилась в дверях, чтобы пропустить его в кухню; перед залитым солнцем квадратом окна, выходящего на юг, за покрытым клеенкой столом, где только что ели мальчик Эдмондса и Алек Сэндер, – а откуда он это знал, он и сам не мог бы сказать – никаких следов этого, ни грязных тарелок и ничего такого не было, – он сел и стал есть, по-видимому, обед Лукаса – салат из капусты, кусок мяса, зажаренного в муке, большой плоский увесистый кусок бледного недопеченного пирога и стакан пахтанья – пища негров, с которой он тоже свыкся и не думал об этом, потому что это было как раз то, чего он и ожидал, это было то, что ели негры, наверно, потому, что они это любили, выбрали по своему вкусу; не потому, что за всю долгую историю их существования, если не считать тех, кто ел на кухне еду, которую стряпали для белых, это все, что они имели возможность приучиться любить, но (так думал он в двенадцать лет, и только уж совсем взрослым он в первый раз с удивлением задумается – а так ли это?) потому, что они выбрали это изо всего другого сами, по своему вкусу и своему обмену веществ; потом через каких-нибудь десять минут – и с тех пор на протяжении четырех лет – он будет стараться уверить себя, что вот с этой еды все и началось. Но в то же время он знал, что это не так. Исконное его заблуждение, предвзятость была заложена в нем с самого начала, ее не требовалось даже и подстрекать запахом дома и одеяла, ведь он и так с трудом выдерживал то, что глядело (не на него даже: просто глядело) из лица этого человека; поднявшись наконец из-за стола с уже зажатой в руке монетой в полдоллара, он пошел обратно в комнату, и только теперь, очутившись как раз напротив, он увидел портрет в золоченой раме на золоченой подставке, и, сам не зная почему, подошел, и нагнулся разглядеть его, потому что он стоял в темном углу, и видно было только, как поблескивает позолота. Его, по-видимому, недавно подновили; из-под круглого, слегка преломляющего свет выпуклого стекла, словно из магического кристалла гадалки, на него снова глядело невозмутимое, неподатливое лицо под сдвинутой набок шляпой, накрахмаленный воротничок без галстука, пристегнутый к белой накрахмаленной сорочке запонкой в виде змеиной головки чуть ли не в натуральную величину, и цепочка от часов, выпущенная петлей на черную из тонкого сукна жилетку, виднеющуюся из-под черного сюртука, недоставало только зубочистки, а рядом – маленькая, с куколку, женщина, но в другой цветной соломенной шляпке и шали; она, конечно, вот эта самая женщина, хотя совсем непохожая, и вдруг он понял, что даже не в этом дело – в ней, в этой женщине на портрете, было что-то страшное, что-то дико несообразное, и тут она что-то сказала, и он поднял глаза, человек этот по-прежнему стоял у камина, широко расставив ноги, а старушка снова сидела в кресле-качалке на старом месте, в углу, и она не смотрела на него, и он знал, что она ни разу не взглянула на него после того, как он вернулся, но она

сказала:

- Все это Лукаса выдумки.

- Что? - спросил он.

И человек этот сказал:

- Молли не нравится, что тот, кто делал этот портрет, снял у нее эту обмотку с головы. - И правда, на портрете видны были ее волосы, и ему показалось, он смотрит через герметически завинченную стеклянную крышку гроба на бальзамированный труп, и он подумал: «Молли. Ну конечно», потому что теперь он вспомнил, что рассказывал ему дядя о Лукасе или о них обоих.

- А почему он снял повязку? - спросил он.

- Я велел ему, - сказал этот человек, - я не желал иметь у себя в доме портрет негритянки-батрачки.

И тут он подошел к ним и, сунув в карман кулак с монетой в пятьдесят центов, подцепил и зажал десятицентовик и еще две монетки по пять центов, все, что у него было, и сказал:

- Вы раньше в городе жили. Мой дядя знает вас - адвокат Гэвин Стивенс.

- Я вашу матушку тоже помню, - сказала она. - Она тогда звалась мисс Мэгги Дэндридж.

- Это бабушка моя, - сказал он. - Моя мама раньше была тоже Стивенс. - И он протянул свои монеты; и в ту самую секунду, когда он почувствовал, что она сейчас возьмет их, он понял, что вот только на эту одну-единственную секунду он опоздал навсегда, и уже непоправимо, и медленно горячая кровь - медленно, как ползут минуты, - прилиwała к его щекам и шее, и так он стоял, протянув онемевшую ладонь с четырьмя позорными крохами отчеканенного в монеты сплава, пока наконец этот человек не проявил что-то похожее по меньшей мере на жалость.

– Это еще зачем? – сказал он, даже не двинувшись, даже не наклонив головы, чтобы взглянуть, что у него там на ладони, и опять целая вечность, и только густая горячая недвижимая кровь прихлынула и стоит, пока наконец яростно не кинулась ему в голову, не зазвенела в ушах, и тут он хоть как-то справился со своим стыдом и увидел, как повернулась его ладонь и не то что швырнула, а стряхнула монеты, которые, звеня и подпрыгивая, покатались по голому полу, а один пятицентовик попал в какую-то длинную покатую выбоину и скатился по ней с таким суховатым шорохом, словно мышь пробежала, и тот же голос:

– Подбери это!

И опять ничего, человек этот ни на что не глядел, руки по-прежнему за спиной, даже не пошевелился, только горячая кровь хлынула волной и застыла, и сквозь нее голос, обращенный ни к кому:

– Подберите его деньги! – И он услышал и увидел, как Алек Сэндер и мальчик Эдмондса бросились куда-то в темень и заерзали по полу. – Отдайте ему, – сказал голос, и он увидел, как мальчик Эдмондса бросил две его монетки на ладонь Алеку Сэндеру, и почувствовал, как рука Алека Сэндера старается всунуть все четыре монеты в собственную его опущенную руку и наконец всовывает их. – Ну а теперь идите стрелять зайцев, – сказал голос. – Да держитесь подальше от ручья.

## Глава вторая

И снова они вышли на пронизанный солнцем морозный воздух (а ведь сейчас был полдень, самое теплое время, и сегодня, наверно, уж нечего было и ждать, что потеплеет) и пошли обратно через мост, и (вдруг, только он кинул взгляд по сторонам, оказывается, они уже чуть ли не полмили прошли берегом, а он даже и не заметил) тут собака загнала зайца в кустарник около хлопчатника и залилась истерическим лаем, а он выскочил, обезумев, обратно, маленький коричневато-рыжий комочек, и, сжавшись на мгновение в клубок, круглый, как крокетный шар, взметнулся высоко в воздух, и в следующую секунду, вытянувшись, длинный, как змея, уже летел впереди собаки, и маленький белый хохолок его хвоста мелькал между оголенными кустами хлопка, как парус игрушечного кораблика в ветер на пруду, а Алек Сэндер кричал ему через

заросли кустарника:

– Стреляй, стреляй! Да что же ты не стреляешь? – А он повернулся не спеша, решительно зашагал к речке, вынул четыре монеты из кармана и швырнул в воду; а ночью, ворочаясь без сна, он понял, что эта еда вовсе не была каким-то угощением, лучшим из того, что Лукас мог предложить ему, нет, просто это было все, что он мог ему предложить, и он был там сегодня утром не как гость Эдмондса, а в гостях на плантации старого Карозерса Маккаслина, и Лукас понимал это, а он нет, и вот, значит, Лукас его и побил, стоял, расставив ноги, перед камином, и, даже не двинув пальцем, не разомкнув сложенных за спиной рук, взял его собственные семьдесят центов, и побил его ими, и, корчась в бессильной ярости, он уже думал об этом человеке, которого он видел только раз в жизни и всего каких-нибудь двенадцать часов тому назад, совсем так же – но это ему еще только предстояло узнать в будущем году, – как думал о нем любой белый в здешних краях, во всей округе, на протяжении многих лет: Мы его сперва заставим быть черномазым. Он должен признать, что он черномазый. А тогда, может быть, мы и согласимся считать его тем, чем ему, по видимому, хочется, чтобы его считали. Потому что он сразу начал очень многое узнавать о Лукасе. Не то чтобы он слышал случайно – нет, он сам расспрашивал о нем всех, кто хорошо знал эту округу и мог рассказать ему о негре, который, обращаясь к женщинам, говорил «мэм», совсем как любой белый, и говорил вам «мистер» или «сэр», если вы были белый, но вы знали, что он не считает вас ни тем, ни другим и знает, что и вы это знаете, но у него даже и в мыслях нет, что вы можете его одернуть, потому что для него это не имеет значения.

Ну, взять хотя бы такой случай.

Это было три года тому назад в лавке, что на перекрестке, в четырех милях от усадьбы Эдмондса, в какую-то из суббот к концу дня, когда каждый живущий окрест, будь то хозяин-арендатор или батрак, белый или черный, идет мимо и обычно заходит что-нибудь купить, а кругом в ивняке и под березами и смоковницами в жидкой грязи у ручья топчутся на привязи оседланные мулы и лошади со стертыми от поклажи боками, а всадники их толпятся в набитой битком лавке, теснятся у входа на улице, сидят на пыльной скамье напротив или, присев на корточки, а кто и стоя, тут же рядом откупоривают с треском бутылки с содовой и тянут прямо из горлышка, жуют, поплеывая, табак, скручивают не спеша сигаретки и чиркают рассеянно спичкой, разжигая потухшие трубки; в тот день там среди прочих были трое довольно еще молодых белых из артели с соседней лесопилки, один из них известный заводила

и скандалист, все они немножко подвыпили, и вот в лавку вошел Лукас в своем потертом черном костюме из тонкого сукна, который он надевал в воскресенье и когда ездил в город, в поношенной дорогой шляпе, солидная часовая цепочка на груди и эта его зубочистка, и тут что-то произошло, но чем это было вызвано, рассказчик не говорил, а скорее всего даже и не знал, может быть, тем, как Лукас вошел и, не сказав ни слова, подошел к прилавку, заплатил и взял покупку (это была пятицентовая пачка имбирных сухариков), повернулся, оторвал конец обертки, переложил зубочистку из одной руки в другую и спрятал в нагрудный карман, потом вытряхнул один сухарик себе на ладонь и сунул его в рот, – может быть, этим, может быть, даже и ничем, только вдруг тот белый как вскочит и прямо обращается к Лукасу и говорит ему:

– Ах ты, паршивый наглец, сволочь вонючая, скрутить тебе шею, чтоб гнулась, осел упрямый, Эдмондсов сукин сын.

А Лукас дожевывал сухарь, проглотил его и, уже нагнув пачку, чтобы вытряхнуть другой, медленно повернул голову, поглядел на белого и, помолчав, сказал:

– А я не Эдмондс. Не из этих новоселов. Я из старожилов. Я – Маккаслин.

– Походи тут еще с эдакой наглой рожей, мы тебя превратим в падаль для воронья! – крикнул белый.

С минуту или по крайней мере полминуты Лукас смотрел на белого человека спокойным, изучающим, невозмутимым взглядом, а пачка сухариков в его руке медленно наклонялась, пока на ладонь другой руки не вытряхнулся еще сухарь, и тогда он слегка вздернул угол рта и, чмокнув, пососал верхний зуб – звук получился довольно громкий среди внезапно наступившей тишины, но в нем не было ничего нарочитого, ни вызова, ни насмешки или хотя бы осуждения, ровно ничего, просто он сделал это почти машинально, как мог бы сделать любой человек, который в полном одиночестве, где-то там за сто миль, жует себе имбирный сухарь и у него что-то застряло в зубе.

– Да, я уж не первый раз слышу такие речи, – сказал он. – И заводят их у нас, как я заметил, даже не Эдмондсы. – Тут белый сорвался с места и, сунув руку на прилавок, за спиной, где лежало с полдюжины рукояток для плуга, не глядя, схватил одну из них и уже замахнулся на Лукаса, но в это время сын хозяина лавки, энергичный молодой человек, выскочил из-за прилавка или, может быть,

перескочил через него и схватил белого сзади, так что рукоятка, никого не задев, отлетела вбок и ударилась о нетопленную печь; а тут кто-то еще подбежал и тоже стал удерживать его.

– Уходи, Лукас, – бросил через плечо сын хозяина.

Но Лукас стоял не двигаясь и смотрел совершенно спокойно, даже без тени насмешки, даже и не презрительно, даже не так уж и настороженно, яркая пачка сухарей в левой руке и один маленький сухарик в правой, просто стоял и смотрел, в то время как хозяйский сын и его приятель едва удерживали разъяренного, вырывавшегося с проклятьями и бранью белого.

– Катись к черту отсюда, проклятый болван! – крикнул хозяйский сын, и только тогда Лукас не спеша двинулся с места, не спеша повернулся и, поднеся правую руку ко рту, пошел к двери, а когда он выходил, видно было, как мерно двигаются его жующие челюсти.

И вот из-за этого полдоллара. На самом-то деле, конечно, всех денег было семьдесят центов в четырех монетах, но уже давно, с того самого момента, чуть ли не с первой доли секунды, он перевел и обратил их в одну неразменную монету, в единое полновесное неделимое целое, отнюдь не соизмеримое с какой-то ее жалкой обменной стоимостью; бывали, правда, минуты, когда его самоугрызения или попросту муки стыда доводили его до такого душевного изнурения, что он вдруг успокаивался и говорил себе: Зато у меня осталось полдоллара, по крайней мере хоть что-то у меня осталось, – потому что теперь не только эта его промашка и позор, но и главное действующее лицо драмы, этот человек, негр, и эта комната, и эта минута, и самый день этот – все теперь исчезло, отчеканилось в круглую прочную символическую монету, и ему даже иногда представлялось: вот он лежит не терзаясь, совсем спокойный, и видит, как изо дня в день эта монета растет, разбухая до каких-то гигантских размеров, и наконец застывает недвижно, навеки повиснув в черном своде его непрерывных мучений, словно последняя омертвелая, навсегда неущербная луна, и против нее он, собственная его хилая тень, неистово жестикулирующая и жалкая в каком-то нелепом затмении: неистовом, нелепом и в то же время неутомимом, потому что теперь уж он никогда не оставит, никогда не отступится, он, унизивший не только свое мужское «я», но и всю свою расу; прежде, бывало, каждый день после школы, а в субботу с утра, если он не играл в бейсбол или не отправлялся на охоту или не предвиделось чего-нибудь еще, что он намеревался или обязался сделать, он шел в контору к дяде, где отвечал

на телефонные звонки или выполнял разные поручения, и все это с каким-то подобием ответственности, если даже и без прямой необходимости; во всяком случае, в этом проявлялось его стремление придать себе какой-то вес в собственных глазах. Он начал это делать еще совсем ребенком, он даже не помнит когда, просто из безграничной слепой привязанности к единственному брату своей матери, – привязанности, в которой он никогда даже и не пытался разобраться, и так это и повелось с тех пор; потом, уже в пятнадцать, шестнадцать и семнадцать лет, ему будет вспоминаться рассказ о мальчике и его любимце теленке, которого он каждый день переносил через изгородь на выгон; годы шли, и мальчик стал уже взрослым, а теленок превратился в быка, и все равно он каждый день по-прежнему переносил его через изгородь.

Так вот, он покинул своего теленка. До Рождества оставалось меньше трех недель; каждый день после школы, а в субботу с утра он слонялся по Площади или где-нибудь поблизости, откуда ее было видно и он мог озирать ее. Холод держался еще дня два, потом потеплело, подул мягкий ветер, яркое солнце заволокло туманом, зарядил дождь, а он все равно стоял или прохаживался по улице возле лавки, в витринах которой уже появились рождественские подарки – игрушки, бенгальские огни, цветные фонарики, ветки плюща, блестки и фольга, – или, заглядывая в запотевшие окна аптеки и парикмахерской, всматривался в лица приезжих негорожан, держа наготове в кармане два пакетика – четыре сигары по двадцать пять центов пара для Лукаса и стаканчик нюхательного табака для его жены – в яркой рождественской обертке; наконец он увидел Эдмондса и отдал это ему с просьбой передать им на Рождество утром. Но это только покрывало (вдвое) те семьдесят центов, а мертвый, чудовищный застывший диск по-прежнему висел по ночам в черной бездне его бессильной ярости: Если бы только он сначала был просто негром, хоть на секунду, на одну крохотную, бесконечно малую долю секунды; и вот в феврале он начал копить деньги – двадцать пять центов, которые он получал каждую неделю от отца на карманные расходы, и двадцать пять центов, которые платил ему за его конторские услуги дядя, – и наконец к маю у него накопилось достаточно, и он пошел с мамой, чтобы она помогла ему выбрать, и купил платье из искусственного шелка с разводами, и отправил его посылкой по почте на имя Карозерса Эдмондса для Молли Бичем, и наконец испытал какое-то облегчение – ярость его улеглась, и он только никак не мог забыть свою обиду и стыд; круглый знак все еще висел в черном своде, но ему уже почти минул год, и свод теперь был уже не такой черный, и диск побледнел, и он даже засыпал под ним, как человек, измученный бессонницей, забывается в тускнеющем свете заходящей луны. И вот наступил сентябрь, через неделю

уже должны были начаться занятия в школе. Как-то раз, только он пришел домой, его встретила мама.

– Смотри, что тебе прислали, – сказала она. Это было галлоновое ведро свежей домашней патоки, и сразу, задолго до того, как она договорилась, он догадался, откуда это. – Кто-то с плантации Эдмондса тебе прислал.

– Лукас Бичем! – не сказал, а почти закричал он. – А давно он ушел? Почему же он не подождал меня?

– Нет, – сказала мама. – Он не сам это принес. Послал с кем-то. Мальчик какой-то, белый, привез на муле.

И все. Итак, значит, опять все вернулось на прежнее место, и опять все надо начинать сначала; а теперь даже еще хуже, потому что на этот раз Лукас заставил белого поднять его деньги и вернуть ему. И тут он подумал, что он даже и не может начать сначала, потому что отвезти обратно это ведро с патокой и швырнуть его в дверь Лукаса – это опять будет как те монеты, которые Лукас опять заставит кого-нибудь подобрать и вернуть ему, уж не говоря о том, что ему пришлось бы сделать конец в семнадцать миль, чтобы добраться до этой двери и швырнуть в нее ведро, а это значит ехать на своем шотландском пони, которого он стыдился, потому что ведь он теперь уже большой, а мама все еще не позволяет ему завести настоящую лошадь или, во всяком случае, такую, какую ему хотелось бы иметь и какую ему обещал подарить дядя. И значит, теперь уже все: то, что могло бы как-то освободить его, было не только выше его сил, но даже его разума; он мог только надеяться на какой-то случай или примириться с тем, что так оно и останется.

И вот прошло четыре года, и уже год с лишним, если не все полтора, он чувствовал себя свободным и думал, что с этим все кончено: старушка Молли умерла, а ее и Лукаса дочь уехала с мужем в Детройт, и только теперь, спустя много времени, он от кого-то случайно услышал, что Лукас живет в своем доме один-одинешенек, бобылем, нелюдимо и не только не водит дружбы ни с кем из своих соплеменников, но даже как будто гордится этим. За все это время он видел его три раза на Площади в городе, и не всегда в субботние дни – нет, правду сказать, вот только теперь, через год после того, как он видел его в последний раз, он вдруг припомнил, что никогда не встречал его в городе в субботу, когда все негры, да и большинство белых, приезжали из поселков, и что всякий раз эти встречи происходили почти ровно через год, и не потому,

что так выходило, что он в этот день случайно оказывался на Площади, а потому, что он приходил нарочно в те дни, когда Лукас каждый год непременно приезжал в город, и всегда в будние дни, как белые – не крестьяне, а хозяева плантаций, люди, ходившие в жилете с галстуком, как коммерсанты, доктора и даже сами юристы, – словно он избегал, не желал иметь ничего общего не только с неграми, но даже с образом жизни негров, живущих в деревне, и всегда он был в этом своем поношенном, тщательно вычищенном черном костюме из дорогого сукна, в том самом, что на портрете в золоченой раме, в превосходной, сдвинутой набок шляпе, в белой крахмальной сорочке, такой, как носил дедушка, с крахмальным воротничком без галстука, толстая часовая цепочка и золотая зубочистка, такая же, как у дедушки, в верхнем жилетном кармане; в первую встречу – это было на следующий год зимой – он сам первый заговорил с ним, хотя Лукас сразу его вспомнил; он поблагодарил его за патоку, и Лукас ответил ему так, как мог бы ответить дедушка, только слова он произносил несколько иначе, не совсем грамотно.

– Уж очень она хороша нынешний год вышла. Вот я когда ее делал, тут и вспомнил, как все мальчишки лакомы до патоки. – И, уже уходя, сказал через плечо: – Смотри, чтобы нынешней зимой больше не падать в ручей. – После этого он видел его еще два раза – черный костюм, шляпа, цепочка, только зубочистки не было, когда они встретились в следующий раз, и Лукас, глядя прямо на него, прямо ему в глаза, прошел мимо в каких-нибудь пяти шагах, и он подумал: Он меня забыл. Он даже и не помнит меня больше, – так он и думал до тех пор, пока, кажется уже на другой год, дядя как-то не сказал, что у Лукаса в прошлом году умерла его старушка жена, Молли. И он, даже не дав себе времени подумать, не поинтересовавшись, откуда это дядя мог узнать (наверно, Эдмондс ему сказал), стал торопливо отсчитывать назад и тут же сказал себе с чувством оправдания, облегчения, чуть ли не с торжеством: Она тогда только что умерла. Вот почему он меня не видел. Вот почему при нем не было зубочистки. И с каким-то изумлением подумал: Он в горе был. Где уж там стараться не быть негром, когда у тебя горе, – а потом оказалось, что он опять караулит и опять слоняется по Площади почти так же, как он делал это два года тому назад, когда он поджидал Эдмондса, чтобы отдать ему для них два рождественских подарка, и так прошло два, три, четыре месяца, и вдруг его осенило: ведь он всегда встречал Лукаса в городе в январе или в феврале, и только раз в году, и вот только теперь до него дошло почему: он приезжал вносить ежегодный налог за свой участок. И вот это было в конце января, ясным холодным днем. Он стоял на углу, возле банка, в закатном солнечном свете и увидел, как Лукас вышел из здания суда и пошел через Площадь прямо на него, в черном костюме, в рубашке без галстука, в старой своей превосходной

шляпе, небрежно сдвинутой набок, весь такой прямой, что его теплая куртка прилегла только к плечам, с которых она свисала, и ему уже виден был поблескивающий сбоку кончик золотой зубочистки, и он чувствовал, как все мускулы его лица напряглись в ожидании, и тут Лукас поднял глаза и еще раз посмотрел прямо на него, долго, может быть, с четверть минуты, а потом отвел взгляд и продолжал идти прямо и даже чуть-чуть посторонился, чтобы пройти мимо, прошел мимо и пошел дальше; и он тоже не обернулся ему вслед и так и стоял на углу тротуара в холодном закатном солнечном свете и думал: Он даже не только не вспомнил меня в этот раз. Даже не узнал. Он даже не старался, ему ничего не стоило забыть меня. И думал даже с каким-то умиротворением: Ну, теперь все, кончено, потому что теперь он свободен: человек, который в течение трех лет преследовал его наяву и во сне, вышел из его жизни. Он, конечно, увидит его еще; можно не сомневаться, они будут проходить вот так же мимо друг друга по улице, раз в год, пока Лукас жив, но это будет все, ибо один из них будет уже не тот человек, а только тень того, кто приказал двум мальчишкам-неграм поднять его деньги и отдать ему; а другой будет лишь воспоминанием о подростке, который протянул их, а потом бросил на пол, воспоминанием, которое донесет до взрослого только полинявший обносок того давнего жгучего стыда, муки и жажды – не мести, не отплаты, а просто восстановления, утверждения своего мужского «я», своей белой расы. А когда-нибудь один из них перестанет даже быть и тенью того человека, который приказал подобрать его монеты; а другому его стыд и муки перестанут даже и вспоминаться, даже тени их не сохранит память, только легкое дуновение, шелест, словно горько-сладко-кислый вкус щавеля, который он жевал мальчиком в давно отошедшем детстве, а теперь случайно взял в рот и вдруг что-то вспомнил на миг и тут же забыл, прежде даже, чем успел вспомнить, что это; он представлял себе, как они встретятся совсем старыми, глубокими стариками, у которых во всех суставах и в оголенных кончиках нервов стоит никогда не прекращающаяся, ничем не утолимая боль, и это-то за неимением лучшего слова у них называется «жить», и, когда не только все истекшие годы обоих, но и полвека разницы между ними станут неразличимыми, их нельзя будет даже и сосчитать, как нельзя сосчитать песчинки, попавшие в кучу угля, и он скажет Лукасу: «Я был тот мальчик, которого вы накормили половиной вашего обеда, а он попытался заплатить вам за это монетами, которые в те времена равнялись семидесяти центам, а когда у него это не вышло, он, чтобы не опозориться, не мог придумать ничего лучшего, как швырнуть их на пол. Не помните?» И Лукас: «А я ли это был?» Или в обратном порядке, не он, а, наоборот, Лукас скажет ему: «Я был тот человек, который приказал двум мальчишкам-неграм подобрать ваши деньги, которые вы бросили на пол, и вернуть вам. Помните?» И на этот раз он скажет:

«А я ли это был?» Потому что теперь с этим было кончено. Он подставил другую щеку, и это приняли. Он свободен.

А потом как-то в субботу он шел по Площади, возвращаясь домой, время было уже далеко за полдень (они играли в бейсбол на школьной площадке), и он услышал, что Лукас убил Винсона Гаури возле лавки Фрейзера; около трех часов по телефону затребовали шерифа, после чего по загородной линии стали звонить в другой конец округа, куда шериф выехал утром по делу и где посыльный сможет разыскать его разве что поздно ночью или совсем под утро – ну, оно, конечно, разница небольшая, даже если бы он и сидел у себя на месте, – все равно наверняка будет поздно, потому что лавка Фрейзера находится на Четвертом участке, и если Йокнапатофа не такое место, где негр может позволить себе выстрелить белому в спину, то Четвертый участок самое неподходящее место во всей Йокнапатофе, и ни один негр, если у него есть хоть что-нибудь в голове, и никакой пришлый любого цвета не выберет это место, чтобы стрелять в кого бы то ни было, будь то в грудь или в спину, и, уж во всяком случае, ни в кого по фамилии Гаури; уже последняя машина, битком набитая молодыми да и не очень молодыми людьми (к которым обращались по делу в бильярдную и в парикмахерскую не только к концу дня в субботу, но и всю неделю, кой-кто из них имел какое-то отношение к хлопку, автомашинам, продаже земельных участков или скота, они заключали пари на состязания призовых боксеров, на стрельбу в цель и на бейсбольные матчи по всей стране), двинулась с Площади и помчалась за пятнадцать миль, чтобы стать в ряду других на шоссе против дома констебля, который, надев на Лукаса наручники, отвел его к себе и, по слухам, защелкнул наручники за ножку кровати и теперь сидит и сторожит его с ружьем (да уж и Эдмондс, конечно, тоже там; даже у деревенского простака констебля хватит соображения послать за Эдмондсом – всего каких-нибудь четыре мили, – и прежде даже, чем вызванивать шерифа) на случай, если Гаури и их родственники решат не дожидаться, пока похоронят Винсона; конечно, Эдмондс сейчас там; если бы Эдмондс был сегодня в городе, он, наверно, увидел бы его утром или в течение дня, до того, как пошел на бейсбол, а раз он его не видел, значит, Эдмондс был дома, всего в каких-нибудь четырех милях; посыльный мог поспеть к нему, и сам Эдмондс уже мог быть в доме констебля прежде, чем другой посыльный записывал телефон шерифа и что ему сказать, а потом еще добирался до ближайшего телефона, чтобы передать все, что требуется; значит, Эдмондс (и опять что-то уж второй раз зацепило на секунду его внимание) и констебль – их двое, а один только Господь Бог может сосчитать, сколько там этих Гаури, Инграмов и Уоркиттов, а если Эдмондс еще чем-нибудь занят, ужинает, или читает газету, или считает деньги, то констебль совсем один, хотя

и с ружьем; но ведь он-то свободен, какое ему дело, и почти не колеблясь он дошел до угла, чтобы повернуть домой, и, только когда увидел, какое еще солнце на улице и что день еще далеко не на исходе, он повернул и зашагал назад и вдруг вспомнил, почему, собственно, он не пошел прямо через Площадь, теперь уже почти пустую, к наружной лестнице, ведущей в контору.

Хотя, конечно, нет никаких оснований предполагать, что дядя засидится в конторе так поздно в субботу, но по крайней мере хоть пока идешь по лестнице, можно об этом не думать, и как раз он сегодня в башмаках на резиновой подметке, но все равно эти деревянные ступеньки скрипят и грохочут, если только ступишь не с краю у самой стены; и он подумал, как это он до сих пор не ценил резиновые подметки, ну что может быть лучше, когда надо вот так собраться с мыслями и решить про себя, что ты будешь делать, и тут он увидел закрытую дверь конторы, и хотя свет у дяди мог и не гореть, потому что было еще сравнительно рано, но у самой двери был такой вид, какой бывает только у запертых дверей, значит, он мог даже быть и на кожаных подметках; отперев дверь своим ключом, он запер ее за собой на задвижку и подошел к тяжелому откидному, с вертящимся сиденьем креслу – в нем когда-то сживал дедушка, а уж потом оно перешло к дяде – и уселся за стол, заваленный бумагами, который дядя завел вместо старинного дедушкиного бюро и через который правовые дела всего округа (требующие юридического вмешательства) проходили с незапамятных времен, потому что его память – это ведь и есть память, во всяком случае, для него, и, значит, этот потертый стол, и пожелтевшие, с загнутыми углами бумаги, и нужды, и страсти, запечатленные в них, так же как и вымеренный и обведенный чертой границы округ, – все это было одного возраста, одно нераздельное целое; последние солнечные лучи протянулись из-за тутового дерева в окно позади и легли на стол, на растрепанные груды бумаг, на чернильницу и подносик со скрепками, грязными заржавленными перьями и проволокой для чистки трубки, и на лежавшую в куче пепла глиняную трубку с головкой из кукурузного початка, и стоявшую рядом на блюде кофейную чашку с засохшими коричневыми подтеками, и на цветную кружку из гейдельбергской Stube[1 - Комната (нем.).] со скрученными обрывками газетной бумаги для разжигания трубки – как в вазе у Лукаса на камине в тот день, – и, прежде чем он успел поймать себя на этой мысли, он вскочил и, взяв со стола чашку с блюдцем, пошел через комнату в умывальную, прихватив по дороге кофейник и чайник, вылил остатки из кофейника, вымыл под краном и кофейник и чашку, налил воды в чайник, поставил все в кухне на полку, вернулся к креслу и снова уселся, как будто вовсе и не уходил, – можно еще долго сидеть и смотреть, как этот заваленный бумагами стол со всем своим привычным хаосом постепенно,

по мере того как угасает солнечный свет, сливается в одно, погружаясь в безымянность тьмы, сидеть задумавшись, вспоминая, как дядя говорил, что у человека только всего и есть что время, все, что стоит между ним и смертью, которая внушает ему ужас и отвращение, – это время, и, однако, половину его он тратит на то, чтобы придумать, как скоротать вторую половину, и вдруг в памяти его само собой ниоткуда вынырнуло то, что уже давно цеплялось за его сознание: Эдмондса ведь нет дома, он даже не в Миссисипи; он лежит в больнице в Новом Орлеане на операции, у него камни в печени; тяжелое кресло откатилось по деревянному полу почти с таким же грохотом, как фургон по деревянному мосту, когда он вскочил и замер у стола и так стоял, пока не затихло эхо, и слышно было только, как он дышит: потому что ведь он свободен; и тут он быстро направился к выходу, потому что мама знает, когда кончился бейсбол, даже если ей и не слышно, как они там орут на окраине города, и она знает даже, сколько времени, с тех пор как начало смеркаться, ему понадобится, чтобы дойти домой, и, заперев за собой дверь, он сбежал по лестнице опять на Площадь, сейчас уже всю одетую сумраком, – вот уже первые огни засветились в аптеке (в парикмахерской и в бильярдной их так и не гасили сегодня с шести утра, когда швейцар и чистильщик обуви открывали двери и выметали волосы и окурки) и в мелочной тоже, чтобы всем понаехавшим из округа, кроме тех, что с Четвертого участка, было где подождать, пока из лавки Фрейзера не пришлют сказать, что все опять тихо-мирно и они могут забирать с задних дворов и из тупиков свои грузовики, машины, фургоны и мулов и отправляться домой спать; на этот раз он повернул за угол, и перед ним выросла тюрьма, громадная, темная, кроме одного заделанного решеткой прямоугольника в фасадной стене наверху, откуда обычно по вечерам негры – азартные игроки, добытчики и торговцы виски, бритвометатели – перекрикивались со своими девчонками и женщинами, стоявшими внизу, на улице, и где сейчас вот уже три часа должен был бы сидеть Лукас (дубася, наверно, в железную дверь, требуя, чтобы ему подали ужин, а может, уже и поужинав, просто выражая свое возмущение скверной кормежкой, потому что, можно не сомневаться, он сочтет это своим правом, предоставленным ему со всем остальным при казенном помещении и харчах), да вот только почему-то у нас считают, что единственная задача всего государственного аппарата сводится к тому, чтобы выбрать одного такого человека, как шериф Хэмптон, достаточно дельного или, во всяком случае, здравомыслящего и твердого, чтобы управлять округом, а на остальные должности насажать родственников да зятьев, которым, за что бы они дотоле ни брались, так и не удалось пристроиться и заработать себе на жизнь. Но ведь он-то свободен, и, кроме того, теперь уже, наверно, все кончилось, а если даже и нет, он знает, что ему делать, и для этого у него еще масса времени и завтра еще будет время, а сегодня надо

только дать с вечера Хайбою две лишние мерки овса на завтрашний день, и сначала ему показалось, что ему самому страшно хочется есть или вот-вот захочется, когда он сел у себя дома за стол, на свое обычное место, и на белоснежной скатерти салфетки, серебро, стаканы для воды и ваза с нарциссами и гладиолусами, и в ней еще несколько роз, и дядя сказал:

- Ну, твоему другу Бичему на этот раз, кажется, каюк.

- Да, - сказал он, - теперь они из него хоть раз в жизни все-таки сделают черномазого.

- Чарльз! - сказала мама, а он ел, ел быстро и много, и говорил очень быстро, и рассказывал без конца про бейсбол, и ждал, что вот-вот сейчас, сию минуту у него засосет от голода, и вдруг сразу почувствовал, что этот последний кусок уже в глотку не лезет, и, с трудом дожевывая его и давясь, только бы скорее проглотить, и, уже вскочив:

- Я иду в кино, - сказал он.

- Ты еще не доел, - сказала мама; и потом: - До начала кино еще чуть ли не целый час. - Потом, взывая даже не к отцу и не к дяде, а ко всем временам Господним - тысяча девятьсот тридцатому, сороковому, пятидесятому: - Я не пущу его сегодня вечером в город, не пущу! - И наконец крик и вопль к верховной власти - к самому отцу - из той объятая тьмою бездны ужасов и страхов, в которой женщины (во всяком случае, матери) живут чуть ли не добровольно: - Чарли! - пока дядя не положил салфетку и не сказал, поднявшись:

- Вот тебе случай отнять его наконец от груди. Кстати, мне надо дать ему одно поручение, - и вышел; потом, уже на веранде, в прохладной темноте, помолчав немного, дядя сказал: - Ну что же, иди.

- А вы не пойдете? - сказал он. И тут же вскричал: - Но почему? Почему?

- А разве это имеет значение? - сказал дядя и тут же добавил то, что он слышал тому назад уже два часа, когда проходил мимо парикмахерской: - Сейчас - нет. Ни для Лукаса, ни для кого другого, кто подвернется там с его цветом кожи. - Но он уже и сам думал об этом, и не перед тем, как сказал дядя, но еще до того,

как он слышал это, да и, кстати сказать, многое другое, два часа тому назад возле парикмахерской. – Ведь вопрос, в сущности, не в том, почему Лукасу понадобилось пустить пулю белому в спину, а иначе и жить было невтерпеж, но почему из всех белых он выбрал именно Гаури и застрелил его не где-нибудь, а именно на Четвертом участке. Ну, ступай. Только не задерживайся допоздна. В конце концов, надо же иногда проявить сочувствие даже и к родителям.

Да, так и есть, одна из машин, а кто знает, может статья, и все, вернулась к парикмахерской и к бильярдной, так что Лукас, по-видимому, все еще мирно прикован к ножке кровати, и констебль сидит над ним с ружьем на взводе, и, наверно, жена констебля принесла им туда ужин, и Лукас, проголодавшись, съел все, что ему дали, с большим аппетитом, и не только потому, что ему не надо за это платить, а потому, что не каждый ведь день случается застрелить кого-то; и, наконец, по-видимому, это все-таки правда, что шерифу в конце концов дали знать и от него получен ответ, что он вернется в город ночью и заберет Лукаса завтра рано утром, а теперь – что бы ему такое придумать, надо же как-то скоротать время, пока не кончится кино, пожалуй, можно было бы и пойти туда, и он перешел Площадь к зданию суда и сел на скамейке в темном прохладном пустом уединении среди разорванных теней, мятущихся без ветра весенних листьев на звездном мареве неба; отсюда ему виден был освещенный брезентовый навес перед входом в кино, и, возможно, шериф и прав: по-видимому, он как-то сумел поладить с этими Гаури, Инграмми, Уоркиттами и Маккалемами настолько, что они голосуют за него через каждые восемь лет, так что, может быть, он приблизительно знает, как они будут в этом случае действовать, или, может быть, те, в парикмахерской, были правы, и Инграмми, Гаури и Уоркитты медлят не потому, что хотят сначала похоронить Винсона, но просто потому, что теперь, уже через каких-нибудь три часа, наступит воскресенье, а им вовсе не хочется делать это наспех, так чтобы успеть все кончить к полуночи и не нарушить седьмого дня; вот уже первые из расходящихся зрителей начали просачиваться из-под навеса, а за ними потекли другие, мигая на свет и даже секунду-другую хватаясь руками за воздух, унося с собой в затрапезную жизнь угасающий жар дерзновенной мечты, целлулоидных пылких видений, и теперь, значит, можно идти домой, то есть, вернее сказать, надо идти: ведь она просто чутьем знает, когда кончилось кино, как она знала, когда кончился бейсбол, и хоть она никогда не простит ему, что он сам может застегивать себе пуговицы и мыть за ушами, но по крайней мере она хоть примирилась с этим и не прибежит за ним сама, а просто пошлет отца, и вот если пойти сейчас, пока все еще не хлынули из кино, – на улице никого, пусто, и так до самого дома; так он и дошел до самого двора и только повернул за угол, как рядом вырос дядя, без шляпы,

дымья одной из своих глиняно-кукурузных трубок.

– Слушай, – сказал дядя. – Я звонил Хэмптону в Пэддлерс-Филд и говорил с ним, и он уже звонил сквайру Фрейзеру, и Фрейзер сам ходил к Скипуорту и видел Лукаса, прикованного к ножке кровати, так что все в порядке и ночью все будет спокойно, а завтра утром Хэмптон заберет Лукаса в тюрьму.

– Я знаю, – сказал он, – они не будут его линчевать до завтра, да и то только после двенадцати ночи, когда уже и Винсона похоронят, и воскресенье пройдет. – И уже на ходу: – Да я ничего. Ведь для меня, собственно, Лукасу нечего было так уж стараться не быть черномазым. – Потому что ведь он свободен – у себя в постели, в прохладной уютной комнате, в прохладной уютной темноте, потому что ведь он уже знает, что он решил на завтра, а в конце концов все-таки он забыл сказать Алеку Сэндеру дать Хайбою лишнюю порцию овса на ночь, но это можно сделать и утром, а сейчас спать, потому что у него есть средство в десять тысяч раз быстрее, чем считать овец; вот сейчас он заснет так быстро, что вряд ли успеет сосчитать до десяти, – и с бешенством, в почти невыносимом приступе возмущения и ярости: убить в спину белого, да еще из всех белых решиться выбрать этого, младшего из шести братьев – один из них уже отбыл год в каторжной тюрьме за вооруженное сопротивление и дезертирство из армии и еще срок принудительных работ на ферме за то, что гнал виски, и еще у них там орды зятьев и двоюродных братьев, все вместе они завладели изрядным куском округа, а сколько их там всего, пожалуй, так сразу не скажут даже и наши бабушки и девственные старушки тетушки, – целое племя драчунов: охотники, фермеры, торговцы лесом и скотом, и кто же может осмелиться поднять руку на одного из них – все они тут как тут, так и кинутся, да и не только они, потому что это племя, в свою очередь, породнилось и перемешалось с другими драчунами, охотниками, торговцами виски, и это уж получилось не просто племя, а клан, и совсем особой породы, который, сплотившись в своем горном гнезде, давно уже представлял собой такую силу, что не считался ни с местными, ни с федеральными властями и не просто заселил и развратил весь этот уединенный край поросших соснами холмов с разбросанными далеко друг от друга фермами, кочующими лесопилками и перегонными кубами для контрабандного виски, край, куда городские блюстители порядка даже и не заглядывали, если за ними не посылали, а посторонние белые, если их занесло сюда, старались с наступлением темноты держаться поближе к шоссе, а негры, уж и говорить нечего, никогда и близко не подходили к этому участку – словом, как сказал один из наших остряков: из посторонних туда мог ступить безнаказанно один Господь Бог, да и то только днем и в воскресенье, – он изменил его

до неузнаваемости, превратив в синоним своевластия и насилия – понятие с осязаемыми границами, вроде как карантин во время чумы, так что только он один, единственный из всего округа, был известен всему остальному округу по номеру своих межевых координат – участок номер Четыре, – такой известностью в середине двадцатых годов пользовался город Сисеро: все знали, где он находится, и кто там живет, и чем занимается, даже те, кто представления не имел, в каком штате Чикаго; и как будто всего этого мало, он, как нарочно, выбрал такое время, когда единственный человек, будь то белый или черный, – Эдмондс, один-единственный из всего Йокнапатофского округа, из всего Миссисипи или, уж коль на то пошло, из всей Америки, изо всего света, единственный, у кого могло бы быть какое-то поползновение – уж не будем говорить возможность или власть – попытаться стать между Лукасом и свирепой судьбой, на которую Лукас давно набивался (и тут, хотя он уже совсем было собрался заснуть, он невольно расхохотался, вспомнив, как это ему в первую минуту пришло в голову, что, если бы Эдмондс был дома, это могло бы иметь какое-то значение, – явно представив себе это лицо, сдвинутую набок шляпу и эту фигуру перед камином в позе барона или герцога – стоит себе, расставив ноги, эдакий сквайр или член конгресса, заложив руки за спину, и так это, даже не глядя, приказывает двум мальчикам-неграм поднять его деньги и отдать ему; и ему даже не надо было вспоминать слова дяди, который чуть ли не с тех пор, как он научился понимать, что ему говорят, наставлял его, что ни один человек не может заслонить другого от его судьбы, потому что даже и дядя при всей своей гарвардской и гейдельбергской учености не мог бы назвать такого смельчака и сумасброда, который решился бы стать между Лукасом и тем, что он задумал сделать), этот человек лежал теперь неподвижно на спине в операционной в Новом Орлеане, так вот Лукасу как раз и приспичило выбрать это время, эту жертву, и это место, и субботний день после полудня, и ту же лавку, где у него уже было столкновение с белым – во всяком случае, один-то раз, – выбрать первую подходящую субботу, удобное время дня и, прихватив с собой старый однозарядный «кольт» такого калибра и типа, каких уже теперь больше и не делают, и, уж конечно, такой только и есть у Лукаса, так же как вот золотая зубочистка, ни у одного человека во всем округе такой нет, подождать у лавки – самое верное место, нет человека из тех, что живут по соседству, который в субботу днем рано или поздно не показался бы здесь, – и, как только появится жертва, уложить на месте выстрелом в спину, а почему – до сих пор так никто и не знает и, по всему тому, что он слышал сегодня днем и даже уже совсем вечером, когда он наконец пошел домой с Площади, никто даже и не интересовался; ну какое это имело значение, во всяком случае, меньше всего для Лукаса, ибо он, по-видимому, вот уже лет двадцать или двадцать пять с неутомимым, ни на минуту

не ослабевающим рвением готовился к этому всеутверждающему моменту; он пошел следом за ним в перелесок – ну что там ходу, плюнуть дойти – и выстрелил ему в спину, и, конечно, все, кто там толкался у лавки, услышали; и, когда первые из толпы подбежали к нему, он так и стоял над телом с аккуратно засунутым в верхний карман брюк револьвером, и, конечно, с ним тут же и расправились бы, не сходя с места, если бы не тот же Доил Фрейзер, который семь лет тому назад спас его от плужной рукоятки, и старый Скипуорт, констебль, маленький, высохший, сморщенный старикашка, глухой как пень и росту чуть побольше щуплого подростка, в одном кармане куртки у него всегда большой никелированный револьвер без кобуры, а в другом – резиновая слуховая трубка, которую он наподобие охотничьего рога носил на ремне из необделанной кожи, накинутом на шею, и вот он-то чуть ли не на свой страх и риск проявил отчаянную смелость и мужество, вызволил Лукаса (который, впрочем, не оказал ни малейшего сопротивления, а просто наблюдал происходящее все с тем же спокойным, невозмутимым, даже не презрительным интересом) из толпы, увел к себе домой и приковал к ножке кровати до тех пор, пока не вернется шериф, а тогда уж он заберет его в город и будет стеречь до тех пор, пока Гаури, Уоркитты, Инграммы и все остальные их гости и свойственники не похоронят Винсона, а тут уж и воскресенье пройдет, и они со свежими силами, без помех приступят к своим обязанностям с начала новой недели, и вот, ну просто не верится, оказывается, уже и ночь прошла, петухи в предрассветной мгле пробуют голоса, опять тишина, и затем громкий, звонкий щебет птиц, и в окне, выходящем на восток, уже видны в сером свете деревья, а вот уж и солнце высоко над деревьями сверкает неистово прямо в глаза, и, наверно, уже поздно, и, конечно, так оно и должно было случиться; но ведь он же свободен – вот он позавтракает, и все обойдется, и ведь он всегда может сказать, что идет в воскресную школу, а то и вовсе ничего не надо говорить, выйти с черного хода просто прогуляться, потом через задворки на выгон и прямо наперерез, рощей к железнодорожным путям, к станции и оттуда обратно на Площадь, и тут же подумал: а нельзя ли еще как-нибудь попроще, а потом сразу бросил думать и пошел через холл прямо к выходу, пересек веранду, спустился в сад и вбок по дорожке на улицу, и тут только, как он потом вспомнил, тут только в первый раз он заметил, что не видел ни одного негра, если не считать Парали, которая подала ему завтрак; обычно в эти часы в воскресенье утром чуть ли не на каждом крыльце видишь горничную или кухарку в свежевыглаженном воскресном фартуке с щеткой в руках, иногда они переговаривались с крыльца на крыльцо через проход меж дворами, и дети, тоже отмытые, вычищенные, собирались кучками в воскресную школу, зажав в потных ладонях пятицентовики; но, может быть, сейчас еще слишком рано или, может быть, по обоюдному уговору или даже по чьему-то распоряжению

сегодня не будет воскресной школы, только церковная служба, и вот в какой-то согласованный со всеми момент, скажем в половине двенадцатого, весь воздух над Йокнапатофским округом, словно накаленный зноем, задрожит беззвучно единым дружным заклинанием – Успокой сердца этих понесших тяжелую утрату разгневанных людей, аз воздам, сказал Господь, не убий, – разве только сейчас уже немножко поздно, что бы им сказать это Лукасу вчера, – и мимо тюрьмы с заделанным решеткой окном во втором этаже, откуда в обычное воскресенье просовывается между прутьев множество темных рук и даже время от времени видно, как сверкают белки и певучие голоса окликают, смеясь, прогуливающих или стоящих внизу негритянских девушек и женщин; и вот тут-то он и подумал, что, кроме Парали, он со вчерашнего дня совсем не видел негров – хотя еще только завтра он узнает, что никто из негров, живущих в Холлоу и Фридмен-Тауне, не выходил на работу со вчерашнего вечера, – ни на Площади, ни даже в парикмахерской, где для чистильщика обуви воскресное утро самое доходное время: почистить башмаки, почистить одежду, сбегать по поручению, приготовить ванну для мытья холостым шоферам грузовых машин, рабочим из гаража, которые жили на холостую ногу, снимая комнаты, молодым и не очень молодым людям, трудившимся без устали целую неделю в бильярдной; а шериф, оказывается, действительно вернулся в город и даже пожертвовал своим воскресным днем, чтобы забрать Лукаса, – и, прислушиваясь, ловя на ходу: да, машин десять – двенадцать отправились вчера к лавке Фрейзера и вернулись ни с чем (он-то знал, что одна машина, набитая битком, отправилась туда еще раз уже совсем поздно вечером, а теперь все они тут, слоняются, зевая, и жалуются, что не выспались, и это тоже еще сверх того припомнится Лукасу), – и все это он уже слышал раньше и даже сам думал, еще до того, как слышал.

– Интересно, захватил с собой Хэмптон лопату? Это все, что ему понадобится.

– Ему там дадут лопату.

– Да-да, если останется, что закапывать. Бензин-то у них там найдется даже и на Четвертом участке.

– А я думал, старик Скипуорт насчет этого позаботится.

– Ясно. Но ведь это Четвертый участок. Они будут слушаться Скипуорта, покуда он держит у себя черномазого. Но ведь он должен передать его Хэмптону. Вот тут-то все и случится. Хэмптон может быть шерифом в Йокнапатофском

округе, но на Четвертом участке он просто человек – как все.

– Нет. Сегодня они ничего не будут делать. Они сегодня днем хоронят Винсона, а жечь черномазого, пока похороны не кончились, – это неуважение к Винсону.

– Верно. Должно быть, на вечер отложат.

– В воскресный-то вечер?

– А что, разве это Гаури вина? Лукасу следовало бы подумать об этом раньше, а не убивать Винсона в субботу.

– Ну, насчет этого я не знаю. Но сдаётся мне, Хэмптон не такой человек, чтобы у него так просто было забрать заключенного!

– Негра, убийцу? Кто в этом округе да и во всем штате станет помогать ему защищать черномазого, который стреляет белому в спину?

– Да и на всем Юге!

– Да. И на всем Юге.

Все это он уже слышал; пройтись, что ли, еще раз на Площадь, только вот как бы дядя не вздумал отправиться пораньше в город за двенадцатичасовой почтой, а если дядя не увидит его, то так прямо и скажет маме, что не знает, где он, и, конечно, ему сразу пришла на ум пустая контора, но ведь как раз туда-то наверняка и пойдет дядя; и во всяком случае – и тут он опять вспомнил, что и сегодня утром опять забыл дать Хайбою лишнего корму, а теперь уже поздно, ну конечно, корм можно взять и с собой – он теперь совершенно точно знает, как ему поступить: шериф уехал из города около девяти; до дома констебля пятнадцать миль по неважной щебнистой дороге, но, конечно, шериф поехал туда и вернется с Лукасом около двенадцати, даже если он и заедет напомнить о себе, раз уж он там, кой-кому из своих избирателей; так вот, задолго до того он вернется домой, оседлает Хайбоя, привяжет мешок с кормом сзади к седлу и поедет прямо в противоположную сторону от лавки Фрейзера и так, никуда не сворачивая, все прямо, прямо будет ехать двенадцать часов, то есть примерно до полуночи, а тогда накормит Хайбоя, даст ему отдохнуть

до рассвета или даже дольше, там посмотрим, и потом двенадцать часов обратно, значит, когда он вернется, пройдет восемнадцать, или, может быть, даже двадцать четыре, или все тридцать шесть часов, и, уж во всяком случае, все будет кончено – и никакого больше возмущения, ни ярости, оттого что лежишь в кровати и стараешься заснуть и считаешь овец; и тут он свернул за угол и, пройдя несколько шагов по другой стороне улицы, нырнул под навес закрытой кузницы, ее тяжелые двойные дубовые двери не задвигались ни засовом, ни задвижкой, а замыкались цепью, пропущенной в просверленные отверстия каждой из створ и защелкнутой висячим замком; цепь провисала свободно, и между подавшимися внутрь несомкнутыми дверьми получался глубокий выем, нечто вроде алькова, здесь уж никто тебя не увидит ни с той, ни с другой стороны улицы, даже если кто мимо пройдет (не мама, конечно, она-то, во всяком случае, сегодня не выйдет), разве только нарочно остановится посмотреть; и вот уже колокола начали мягкий неторопливый разноголосый перезвон через весь город с одной колокольни с взметнувшейся голубиной стаей на другую, и улицы и Площадь вдруг запрудила толпа шествующих чинно мужчин в черных костюмах, женщин в шелковых платьях и с зонтиками, девушек и юношей, шествующих чинными парами под этот переливчатый гул в это многоголосое смятение, – прошли, и Площадь и улица снова опустели, а колокола все еще трезвонят – небожители, беспочвенные обитатели лишенного кровли воздуха, слишком далеки, высоки, бесчувственны к пресмыкающейся земле, – и вот затихают неторопливо, звон за звоном, смолкают от подземного содрогания органов и настырного, неистового гульканья успокаивающихся голубей. Два года тому назад дядя сказал ему, что выругаться – это совсем неплохо, в этом нет ничего дурного, наоборот, это не только полезно, но и незаменимо, но, как и все, что есть ценного, оно только тем и дорого, что запас ругани ограничен, и если ты будешь тратить его зря, то в минуту крайней нужды можешь оказаться банкротом; и тут он сказал: Какого черта я здесь торчу? – и сам же и ответил вполне вразумительно – не затем, чтобы увидеть Лукаса, он уже видел Лукаса, но чтобы Лукас мог увидеть его еще раз, если пожелает кинуть на него взгляд не просто с порога ничем не примечательной смерти, а из бензинового рева и пламени апофеоза. Потому что он свободен. У него больше нет никаких обязательств по отношению к Лукасу, он больше не сторож Лукасу – Лукас сам отказался от него.

И вдруг сразу пустая улица заполнилась людьми. Пожалуй, их было уж не так много, ну, может, человек двадцать набралось, а то и меньше, и как-то внезапно, бесшумно, ниоткуда. И все же они словно запрудили, загородили всю улицу, как если бы ее вдруг перекрыли, и не то чтобы никто не мог здесь

пройти, пройти мимо них, идти, как обычно, по этой улице, нет, никто не осмеливался даже и близко подойти, никто даже и не пытался этого сделать – так всякий старается держаться подальше от надписи «Высокое напряжение» или «Взрывчатое вещество». Он знал, он узнавал их всех, кой-кого он видел и слышал два часа тому назад в парикмахерской – молодые люди или люди лет под сорок, холостые, бездомные, они приходили в субботу или в воскресенье в душевую парикмахерской – водители грузовиков, рабочие из гаража, смазчик хлопкоочистительной машины, продавец содовой воды из магазина и те, что сплошь всю неделю толклись в бильярдной или поблизости; никто не знал, что они делали, как будто совсем ничего, у них были свои машины, и они ездили на них в Мемфис и Новый Орлеан, и никто, собственно, не знал, каким способом они добывали деньги, которыми они там швыряли в борделях, – такие люди, говорил дядя, водятся в каждом городке южных штатов, они, в сущности, никогда не ведут за собой толпу и даже не подстрекают ее, но всегда являются ее ядром, ибо толпа в массе своей как нельзя более пригодна и доступна для этого. И тут он увидел машину; он узнал ее даже издали, сам не зная как и, по правде сказать, вовсе и не задумываясь над этим, вышел из своего укрытия на улицу, перешел ее, стал с краю толпы, которая не издавала ни звука, а просто стояла, запрудив тротуар перед тюремной оградой и захлестнув часть мостовой, а машина между тем приближалась, не быстро, совсем не спеша, так это спокойно, медлительно, как подобает ездить машинам в воскресное утро, подъехала к тротуару перед тюрьмой и остановилась. За рулем сидел помощник шерифа. Он так и остался сидеть. Затем задняя дверца открылась, и вышел шериф – громадного роста, исполин, плотный, ни капли жира, маленькие суровые светлые глаза на бесстрастном, почти приветливо-учтивом лице; даже не взглянув на толпу, он повернулся и придержал дверцу. Затем вылез Лукас – медленно, едва поворачиваясь, ну так, как человек, который провел ночь, прикованный к ножке кровати; неловко нагнувшись, он стукнулся или, вернее, задел головой за верх машины над дверцей, так что, когда он вылез, его сплюснутая шляпа слетела с головы на мостовую прямо ему под ноги. Вот тут в первый раз он увидел Лукаса без шляпы и в ту же секунду подумал, что, может быть, за исключением Эдмондса, единственные белые люди, которые когда-либо видели его без шляпы, – это те, что караулят его здесь на улице, караулят вот и сейчас, когда он вылез, согнувшись, из машины и, не разгибая спины, неловко потянулся за шляпой. Но, наклонившись всем своим рослым и вместе с тем удивительно гибким туловищем, шериф уже подхватил ее и протянул Лукасу, который, все так же согнувшись, казалось, еле-еле удержал ее в руке. Но чуть ли не в тот же миг шляпа приняла свою прежнюю форму, и Лукас, выпрямившись, но все еще с опущенной головой – лица не видно – провел по ней рукавом

несколько раз, взад и вперед, быстро, легко, так вот, как точат бритву. Затем голова и лицо запрокинулись – назад и вверх, и одним небыстрым движением он накинул шляпу на голову, чуть-чуть набок, под обычным углом, который шляпа словно приняла сама собой, как если бы он поймал ее головой на лету; и, прямой в своем черном костюме, измятом после бог весть как проведенной ночи (с одной стороны по всему боку, от плеча до щиколотки, налип какой-то сор, словно ему долгое время пришлось лежать в одном положении на неметеном полу), Лукас в первый раз поглядел на них, и он подумал: Сейчас. Сейчас он меня увидит, – и потом подумал: Он видел меня. Ну, теперь все, – а потом подумал: Никого он не видел, – потому что лицо это даже не смотрело на них, а просто повернулось к ним, надменное, спокойное, без вызова и без страха, замкнутое, отчужденное, почти задумчивое, неподатливое, невозмутимое; глаза его немножко мигали на солнце даже и после того, как кто-то в толпе шумно втянул воздух и чей-то голос сказал:

– А ну-ка сшибите ее опять, Хоуп. Да на этот раз вместе с головой.

– Вы, ребята, расходитесь отсюда, – сказал шериф. – Ступайте себе в парикмахерскую. – И, повернувшись, сказал Лукасу: – Ну ладно, идем.

И все; еще секунду лицо, глядящее не на них – просто в их сторону, и шериф уже зашагал к тюремным воротам, и тут Лукас наконец повернулся и пошел за ним, и вот, если сейчас поспешить немножко, он еще успеет оседлать Хайбоя и уехать прочь, до того как мама, спохватившись, пошлет Алека Сэндера разыскивать его, чтобы он шел обедать. И тут он увидел, что Лукас остановился и обернулся – и вот как он, оказывается, ошибся, потому что Лукас, прежде даже чем обернуться, знал, где он там в толпе, – и, глядя прямо на него, даже еще не совсем повернувшись, сказал ему:

– Вы там, молодой человек, скажите вашему дяде, что мне надобно его повидать.

И, снова повернувшись, пошел за шерифом, все еще немножко одеревенелый, в испачканном черном костюме, в небрежно сдвинутой и сейчас на солнце заметно выцветшей шляпе, и голос из толпы ему вслед:

– На черта ему адвокат. Ему даже гробовщика не понадобится, после того как Гаури разделяются с ним нынче ночью!

А он прошел мимо шерифа, который, остановившись, обернулся к толпе и говорил своим мягким, холодным, учтивым, бесстрастным голосом:

– Я вам уже сказал раз: уходите отсюда. Больше я повторять не буду.

### Глава третья

Вот если бы утром, когда он только подумал об этом, он пошел прямо из парикмахерской домой и оседлал Хайбоя, он теперь был бы уже в десяти часах езды отсюда, примерно в пятидесяти милях.

Колокола теперь молчали. На улице было пусто, а если бы кто и повстречался им сейчас, это были бы люди, идущие молиться в более тесном, не столь официальном собрании, шествующие степенно, от фонаря к фонарю, в густой темноте широко раскинувшихся теней и столь строго соблюдающие тихий воскресный покой, что они с дядей спокойно прошли бы мимо, узнав их еще издали, за много шагов, не зная, не гадая и не пытаясь припомнить, когда, где, как, откуда они их знают, – не по фигуре, нет, и даже голос не обязательно слышать, а вот самое их присутствие, может быть, ток какой-то или просто сопоставление: вот этот самый в такое-то время дня, в таком-то месте, и это все, что требуется, чтобы узнавать людей, среди которых ты прожил всю жизнь, – и даже, посторонившись, сошли бы с тротуара на поросший травой край мостовой; быть может, дядя окликнул бы кого-то на ходу, перекинулся двумя словами – и снова на тротуар.

Но сегодня улица была пуста. И сами дома кругом казались замкнутыми, притихшими, настороженными, как если бы люди, живущие в них, которые в этот теплый майский вечер (те, кто не пошел в церковь) вышли бы посидеть после ужина на темных верандах в креслах или качалках, спокойно беседуя друг с другом или, если дома достаточно близко, переговариваясь с веранды на веранду, попрятались или ушли из дому. Но и на улице сегодня им попался только один человек, и он не шел, а стоял у калитки чистенького, маленького, как сапожная будка, домика, втиснувшегося в прошлом году между двумя другими домами, которые и так уже жались друг к другу так тесно, что из одного дома в другой слышно было, как спускают воду в уборной (как-то дядя ему объяснял: если ты родился, вырос и всю жизнь жил в такой глуши,

что не слышно ничего, кроме сов по ночам да петухов на заре, а в сырую погоду, когда звук далеко летит, можно услышать, как твой ближайший сосед за две мили от тебя дерево рубит, тебе приятно жить так, чтобы рядом с собой слышать людей, чувствовать их присутствие всякий раз, как они спускают воду или открывают банку рыбных консервов или супа), – он стоял, темнее собственной тени и, конечно, более неподвижный, человек, приехавший откуда-то из деревни год тому назад, а теперь у него была маленькая убогая лавчонка где-то на окраине, и покупатели его были большей частью негры; они увидели его, только уже когда чуть не налетели на него, хотя он-то узнал их – или по крайней мере его дядю – еще издали и ждал, когда они подойдут, и заговорил с дядей, прежде чем они оказались рядом:

– Не рановато ли вы, адвокат? Ведь людям с Четвертого участка надо и коров подоить, и дров наколоть на утро, чтоб с завтраком не запоздать, и, прежде чем в город ехать, еще и поужинать успеть.

– А может быть, они еще надумают дома посидеть в воскресный вечер, – любезно отозвался дядя, проходя мимо.

На что этот человек ответил почти точь-в-точь то же, что говорил кто-то утром в парикмахерской (и он вспомнил, как дядя сказал ему однажды, какой небольшой запас слов требуется человеку, чтобы жить себе спокойно и даже успешно обделывать свои дела, и как не только отдельный человек, но и целая категория людей, подобных ему, такого же типа и склада, обходится небольшим количеством несложных оборотов для выражения своих несложных запросов, потребностей и вождений):

– Ну уж это будьте покойны. Не их вина, что нынче воскресенье. Этому сукину сыну следовало бы подумать, прежде чем убивать белого человека в субботу под вечер. – И, так как они уже прошли, продолжал, повысив голос: – Жене моей сегодня что-то неможется, да и неохота мне так просто торчать там да глазеть на тюрьму. Но если уж помощь понадобится, вы им скажите, чтоб кликнули.

– Я думаю, они знают, что на вас можно рассчитывать, мистер Лилли, – отозвался дядя. Они продолжали идти. – Вот видишь? – сказал дядя. – Он ничего не имеет против, как он выражается, черномазых. Спроси его, и он тебе наверняка скажет, что он любит их больше некоторых известных ему белых, и сам он этому верит. Они, по всей вероятности, частенько обсчитывают его, недодадут цент-другой и тащат, наверно, какие-нибудь пустяки, по мелочам – пачку

жевательной резинки, синьку, пару шнурков или там банан, а то и коробку сардин или флакон выпрямителя для волос унесут, спрятав под комбинезоном или фартуком, и он знает это; он, вероятно, и сам отдает им даром какие-нибудь там кости, мясо с душиком, которое он по недосмотру принял от мясника, завалявшиеся карамельки. Все, что он требует от них, – это чтобы они вели себя как черномазые. Вот так именно и поступил Лукас; пришел в ярость и застрелил белого человека, и, наверно, мистер Лилли считает, что все негры хотели бы сделать то же, а теперь белые возьмут и сожгут его, все правильно, как полагается, и он твердо убежден, что и сам Лукас хотел бы, чтобы с ним поступили именно так, как подобает белым; и те и другие поступают неуклонно по правилам: негр – как положено негру, а белые – как полагается белым, и, после того как каждая сторона утолила свою ярость, никто не в обиде (ведь мистер Лилли – это не Гаури); и, сказать правду, мистер Лилли, наверно, даже одним из первых предложит дать деньги на похороны Лукаса и помочь вдове и детям, если бы они у него были.

Теперь им видна была Площадь, тоже пустая, – амфитеатр неосвещенных лавок, стройный белый пилястр памятника конфедератам на фоне массивной громады здания суда, простершего ввысь свои колонны, к тусклому четвероликому циферблату часов, освещенному с каждой стороны маленьким электрическим диском, столь же не соответствующей своей сути этим четырем механическим гласам предостережения и заклятия, как огонек светлячка. А вот и тюрьма, и в тот же миг снопы света вспыхнувших фар, и весь в огнях, с ревом и воем, маленький среди этой огромной ночи и пустого города и вместе с тем вызывающе-наглый, вынырнул из ниоткуда грузовик и закружил по Площади, и голос, голос молодого человека завопил из него – это были не слова и даже не крик, а рев, многозначительный и бессмысленный, – и, промчавшись в дальний конец Площади и завершив круг, грузовик скрылся в никуда. Они свернули к тюрьме.

Это было кирпичное прямоугольное здание строгих пропорций, с четырьмя кирпичными колоннами, выступающими по фасаду, плоским барельефом и даже с кирпичным архитравом под карнизом, потому что здание было старое и строилось еще в ту пору, когда даже и тюрьмы строили старательно, не спеша и заботились, чтобы получилось красиво; и он вспомнил, как дядя говорил ему когда-то, что не правительственные здания и даже не церкви, а тюрьмы представляют собой подлинную летопись округа, историю общины; ибо не только загадочные, всеми забытые инициалы, слова и даже целые фразы, вопли возмущения и обвинения, нацарапанные на стенах, но самые кирпичи и камни хранят не осадок, но сгусток – уцелевший, нетронутый, действенный,

неистребимый сгусток страданий, и позора, и терзаний, от которых надрывались и разрывались сердца, давно обратившиеся в неприметный, всеми забытый прах. И что касается этой тюрьмы, так оно на самом деле и было, потому что наряду с одной из церквей это было самое старое здание в городе – здание суда и все, что стояло на Площади и примыкало к ней, было сожжено и разрушено вступившими в город федеральными войсками после битвы в 1864 году. Потому что на одном из стекол веерообразного окна над дверью было нацарапано одно имя, имя молоденькой девушки, начертанное алмазом на стекле ее собственной рукой в том самом году, и два-три раза в год он поднимался на галерею посмотреть на него – такое загадочное, когда глядишь не с той стороны, – не затем, чтобы ощутить прошлое, но чтобы почувствовать снова бессмертность, неизбывность, неизменность юности; это было имя одной из дочерей тогдашнего тюремщика (и дядя, который все умел объяснить не фактами, а чем-то давным-давно перешагнувшим пределы сухой статистики, и гораздо более волнующим – потому что это была правда, которая хватала за сердце и не имела ничего общего с тем, что давали сведения из достоверных источников, – рассказывал ему еще, что эта часть Миссисипи была тогда еще совсем девственной; город, селение, община выросли здесь меньше пятидесяти лет тому назад, люди, которые пришли тогда, чтобы поселиться здесь – а давность этому меньше продолжительности жизни самого старого из них, – трудились сообща, все вместе, выполняя и самую черную работу, и почетный труд не из-за денег или из каких-либо политических соображений, а чтобы создать отчизну своему потомству, где человек, будь он потом тюремщиком, хозяином гостиницы, кузнецом или разносчиком, оставался бы неизменно тем, что юрист, помещик, доктор и священник называют порядочным человеком); она в тот день стояла у этого окна и смотрела на разгромленные останки отступавшего из города батальона конфедератов, и вдруг глаза ее встретились через все разделявшее их пространство с глазами оборванного небритого лейтенанта, шагавшего во главе одного из разбитых отрядов; она не нацарапала и его имени тут же на стекле не только потому, что юная девушка того времени никогда бы не сделала этого, но потому, что она тогда еще не знала его имени, хотя полгода спустя он стал ее мужем.

В сущности, и сейчас, с этой деревянной галереей вдоль фасада, огороженной деревянной балюстрадой, нижний этаж был похож на жилое помещение. Но надо всем этим – кирпичная стена без окон, кроме одного высокого прямоугольника за толстыми прутьями решетки; и он снова вспомнил, как обычно в воскресные вечера, которые сейчас отошли в какие-то допотопные времена, с самого ужина и до того, как тюремщик, выключив свет, выходил на лестницу и кричал, что пора там уняться наверху, темные гибкие руки

высовывались меж прутьев решетки, и мягкие нераскаянные беспечные голоса перекрикивались с собравшимися на улице женщинами в фартуках поварих или нянек, с девушками в ярких дешевых платьях, заказанных и полученных по почте, с другими молодыми людьми, еще не попавшими в тюрьму или уже отсидевшими срок и только что выпущенными. Но не сегодня; сегодня даже в глубине, в помещении за решеткой, было темно, хотя не было еще восьми часов, и он представлял себе, видел, как они все собрались, ну, может быть, не в кучу, но все вместе, так, чтобы чувствовать друг друга локтем, если даже и не касаться друг друга, и, конечно, они сидят тихо, ни смеха, ни разговоров сегодня, сидят в темноте и смотрят на лестничную площадку, потому что бывало уже, и не раз, когда для толпы белых людей мало того, что все черные кошки были серы, она даже не давала себе труда сосчитать их.

И входная дверь была распахнута настежь, чего он никогда раньше не видел даже летом, хотя в нижнем этаже помещалась квартира тюремщика, и, откинувшись на складном стуле, придвинутом к стене прямо против входной двери, так что ему видно было всю улицу, сидел человек; это был не тюремщик и даже не один из помощников шерифа, потому что он сразу его узнал, – это был Уилл Легейт, живший на ферме в двух милях от города, один из лучших лесорубов, превосходный стрелок и первый охотник на оленей во всей округе, он сидел, откинувшись на стуле, держа в руках пестро иллюстрированную страницу юмора сегодняшней мемфисской газеты, а рядом с ним, прислоненная к стене, стояла не старая его заслуженная винтовка, которой он перестрелял столько оленей (и зайцев прямо на бегу), что даже и счет потерял, а двуствольное ружье, обыкновенный дробовик, и он, даже не опустив газеты, не шевельнув ею, увидел и узнал их прежде даже, чем они вошли в ворота, и теперь внимательно следил, как они шли по двору, поднялись по ступеням на галерею и, пройдя через нее, вошли в комнату; в ту же минуту и сам тюремщик появился из двери справа – сердитый, толстопузый, неряшливый человек с встревоженным, озабоченным, возмущенным лицом, с тяжелым револьвером, заткнутым за пояс и выглядевшим на нем так же нелепо и неуместно, как шелковый цилиндр или железный ошейник, какой в пятом веке надевали на шею рабов, – и, притворив за собой дверь, сразу начал жаловаться дяде:

– Он даже не дает закрыть и запереть входную дверь, уселся с этой дурацкой газетой – и нате вам, пожалуйста, приходи всякий, кто хочет.

– Я делаю то, что мне велел мистер Хэмптон, – спокойно и вежливо сказал Легейт.

– А что же, Хэмптон думает, эта дурацкая газета остановит молодчиков с Четвертого участка? – не унимался тюремщик.

– Мне кажется, у него сейчас пока еще нет опасений насчет Четвертого участка, – все так же спокойно и вежливо отвечал Легейт. – Это у меня просто так – для упреждения.

Дядя поглядел на Легейта:

– И, похоже, помогает. Мы видели машину – или, может быть, одну из многих, – она кружила по Площади, как раз когда мы подошли. Наверно, побывала и здесь.

– Да, приезжала раз или два, а может, и три, – сказал Легейт. – Признаться, я как-то не придавал этому значения.

– Вот только на то, черт возьми, и надейся, что помогает, – сказал тюремщик. – Потому как, ясное дело, этой воробыиной трещоткой никого не остановишь.

– Ясно, – сказал Легейт, – я и не надеюсь их остановить. Если наберется достаточно людей, которые решатся на такое дело и внушат себе, что так надо, их ничто не остановит. Ну, тогда уж мне на подмогу придете вы, с этим вашим револьвером.

– Я? – вскричал тюремщик. – Чтобы я полез драться против всех этих Гаури и Инграмов за семьдесят пять долларов в месяц? Из-за какого-то черномазого? Да и вы, если у вас что-нибудь в голове есть, тоже не полезете.

– Ну нет, я обаялся, – сказал Легейт все тем же спокойным, вежливым тоном. – Я вынужден буду оказать сопротивление, мистер Хэмптон платит мне за это пять долларов. – И, обратившись к дяде: – Вы, я полагаю, пришли повидать его.

– Да, – сказал дядя. – Если не возражает мистер Таббс.

Тюремщик, обозленный, встревоженный, уставился на дядю.

– И вам тоже понадобилось в это впутаться. Ну как же, разве вы можете позволить себе остаться в стороне? – Он круто повернулся: – Идемте. – И пошел в дверь, возле которой сидел, прислонясь к стене, Легейт, и они вышли на черный ход, откуда вела лестница на верхний этаж; щелкнув выключателем внизу у лестницы, он начал подниматься по ступеням, за ним дядя и следом за ними он, глядя внимательно на кобуру с револьвером, заткнутую за пояс у тюремщика, которая то поднималась горбом у него на бедре, то опускалась. Внезапно тюремщик замедлил шаг, словно собираясь остановиться, должно быть, так показалось и дяде, он тоже остановился, но тюремщик, продолжая идти, заговорил через плечо: – Вы на меня не обижайтесь; я, конечно, все сделаю, что могу, я ведь тоже присягу приносил, как сюда поступал. – Он слегка повысил голос и продолжал спокойно, только чуть-чуть погромче: – Но только не думайте, что я по своей охоте на это иду, уж этого меня никто не заставит признать. У меня жена, двое детей, какая им от меня польза будет, если я дам себя убить, защищая какого-то негодного вонючего негра? – Голос его еще повысился, теперь он уже не был спокойным. – А как я сам с собой жить буду, если я позволю этой своре паршивых сукиных сынов забрать у меня из-под замка арестанта? – Тут он остановился одной ступенькой выше их и, возвышаясь над ними обоими, повернулся к ним лицом, опять исступленным, издерганным, и голос у него теперь был исступленный, негодующий. – Для всех было бы лучше, коли бы эти парни забрали бы его тут же, на месте, как только накрыли вчера...

– Но они этого не сделали, – сказал дядя. – И думаю, что и не сделают. А если и собираются, в конце концов, это не имеет значения. Может, они соберутся, а может, и нет, и если нет, тогда все в порядке, а если да, то мы сделаем все от нас зависящее, вы, мистер Хэмптон, и Легейт, и все мы, – все, что можем и считаем своим долгом сделать. А пока что нечего и беспокоиться. Ясно?

– Да, – сказал тюремщик. Он повернулся и, отстегивая на ходу связку ключей от пояса под патронташем, поднялся еще на несколько ступеней, подошел к тяжелой дубовой двери, замыкавшей лестницу (это была добротная дверь из цельного теса толщиной два с лишним дюйма, запиравшаяся солидным современным висячим замком на кованом железном засове, вставлявшемся в железные пазы, которые, так же как и тяжелые завитки петель, были выделаны вручную, выкованы свыше ста лет тому назад в той самой кузнице напротив, где он стоял вчера; однажды прошлым летом какой-то сумасброд

из столичных, архитектор, напомнивший ему даже чем-то его дядю, без шляпы, без галстука, в теннисных туфлях, заношенных фланелевых брюках, в машине с откидным верхом стоимостью три тысячи долларов, с ящиком шампанского или, вернее, с тем, что еще осталось в нем, не то чтобы заехал проездом, а намеренно пожаловал в наш город и вкатил, никого не задев, через тротуар прямо в витрину, пьяный, веселый, денег при нем меньше пятидесяти центов в кармане, но масса всяческих удостоверений, визитных карточек и чековая книжка, по корешкам которой выяснилось, что у него на счету в одном из нью-йоркских банков свыше шести тысяч долларов; он тут же потребовал, чтобы его посадили в тюрьму, хотя шериф и хозяин витрины оба старательно убеждали его пойти в отель и проспаться, а потом выписать чек за стену и за витрину; в конце концов шерифу пришлось отвести его в тюрьму, где он и заснул сразу как младенец, а машину забрали чинить в гараж, а на следующий день тюремщик позвонил шерифу в пять утра, чтобы он тут же убрал этого типа, потому как он весь его приход перебудил, перекликаясь из своей камеры с черномазыми в общей арестантской. Шериф явился и выпроводил его, тогда он пожелал примкнуть к партии арестантов, которых вели на мостовые работы, но его к ним не допустили, и машина его была уже готова, но он никак не хотел уезжать и остался на эту ночь в отеле, а через два дня дядя привел его вечером к ужину, и они с дядей три часа сидели и говорили о Европе, о Париже и Вене, а он и мама слушали, а отец извинился и ушел, и после этого еще через два дня он все еще был здесь и всячески старался добиться от дяди и мэра, и от городского совета, и под конец даже от самого Совета попечителей, чтобы ему разрешили купить целиком эту дверь, а уж если они никак не хотят ее продать, то хотя бы засов с пазами и петлями), отомкнул засов и распахнул дверь.

Теперь они уже оставили позади человеческий мир, мир людей, – людей, которые работали, жили дома, растили детей и старались заработать немножко больше денег, чем, пожалуй, они заслуживали, ну, разумеется, честным способом или по меньшей мере не противозаконным, так чтобы можно было потратить немножко на развлечения и как-никак отложить кой-что и на старость. Потому что едва только дубовая дверь распахнулась, оттуда словно вырвалось и хлынуло прямо на него затхлое дыхание всей человеческой низости и позора – вонь креозота, испражнений, блевотины, неисправимости, пренебрежения, отречения, и все это, словно нечто осязаемое, они как бы с трудом преодолевали напором собственных тел, поднимаясь на последние ступени и входя в коридор, который, в сущности, был частью общей арестантской, загоном, отделенным от всего остального помещения толстой проволочной сеткой, вроде как курятник или псарня; внутри этого загона

у дальней его стены лежали на нарах пятеро негров, неподвижно, с закрытыми глазами, не всхрапывая, не издавая ни единого звука, они лежали не шевелясь под тусклым светом единственной пыльной лампочки, висевшей без колпака, недвижимые, спокойно и чинно, словно набальзамированные покойники; тюремщик снова остановился и, ухватившись руками за сетку, окинул свирепым взглядом безжизненные фигуры.

– Поглядите на них, – сказал он чересчур громким, тонким, почти истерическим голосом. – Смирные, как овечки, чертовы дети, а ведь ни один не спит. А что их винить, когда эта разъяренная толпа белых, того и гляди, ввалится сюда в полночь с револьверами да с жестянками бензина. Идемте, – сказал он, повернулся и пошел. Тут же рядом, в сетке, была дверь, закрытая не на замок, а на крючок – так иногда запирают собачью конуру или ларь с зерном, но тюремщик прошел мимо нее.

– Вы что, в камеру его поместили? – спросил дядя.

– Хэмптон приказал, – ответил через плечо тюремщик. – Не знаю уж, если теперь еще какого белого арестанта приведут, как ему понравится, что отдохнуть, выспаться здесь можно, только если кого убьешь. Ну, одеяла-то я все-таки с коек убрал.

– Может, потому, что он здесь не так долго пробудет, чтобы лечь спать? – сказал дядя.

– Ха-ха, – отозвался тюремщик каким-то неестественным, тонким, грубым и невеселым смешком. – Ха-ха-ха-ха-ха...

А он шел следом за дядей и думал, как из всего, что ни делает человек, ничто так настоятельно не требует уединения, как убийство; сколько усилий приложит человек, чтобы уединиться для отправления естественных потребностей или для любовного акта, но ради того уединения, которое нужно ему, чтобы лишить человека жизни, он пойдет на все, даже еще убьет, и, однако, никаким другим поступком он не лишает себя уединения так окончательно и бесповоротно, как убийством; дверь, на этот раз по-современному заделанная стальной решеткой с внутренним запором величиной чуть ли не с дамскую сумку, – тюремщик открыл ее другим ключом из своей связки и тут же повернулся и ушел, и звук его шагов, быстро удалявшихся, чуть ли не бегущих

по коридору, слышен был, пока не стукнула дубовая дверь на лестнице, – а за ней камера, освещенная другой такой же тусклой, пыльной, засиженной мухами лампочкой под проволочной сеткой, ввинченной в потолок, – чуть побольше чуланчика для метлы, в сущности, в ней только и умещались две койки друг над другом у стены, и с обеих были сняты не только одеяла, но и матрацы, и, когда они с дядей уже вошли, все, что он увидел, было то, что он увидел с первого взгляда: шляпу и черный сюртук, аккуратно висевшие на вбитом в стену гвозде, и он потом вспоминал, как он чуть ли не со вздохом и даже с облегчением подумал: Его уже забрали. Его нет. Мы опоздали. Уже все кончено. Потому что хоть он и не представлял себе, что он здесь ожидал увидеть, но только не это: старательно разостланные листы газеты аккуратно покрывали голые пружины нижней койки, а другая половина газеты была так же аккуратно разостлана на верхней койке, чтобы свет не бил в глаза, а сам Лукас лежал на разостланных газетах на спине, подсунув под голову один из своих башмаков, сложив руки на груди, и спал совершенно спокойно или так спокойно, как спят старые люди, – рот у него был открыт, и дышал он всхлипывающими, прерывистыми, мелкими вздохами, а он стоял и, чуть не задохаясь от возмущения – нет, не просто возмущения, а бешенства, – смотрел на это лицо, которое в первый раз в кои-то веки, хоть на миг не защищенное ничем, выдавало его возраст, на дряблые узловатые старческие руки, еще только вчера всадившие пулю в спину другому человеческому существу, мирно покоившиеся на груди белой крахмальной старомодной сорочки без воротничка, застегнутой на шее медной посеребренной запонкой в виде изогнутой стрелы величиной с маленькую змеиную головку, и думал: Ведь это просто черномазый, как все черномазые, хоть у него и прямой нос, и он не гнет шею и носит золотую цепочку, и для него нет никаких мистеров, даже если он к кому так и обращается; только черномазый способен убить человека, и как убить – выстрелом в спину, – и потом спать себе, как невинный младенец, едва только нашлось место, где растянуться; он все еще смотрел на него, и вдруг Лукас, не двинув ни одним мускулом, не пошевелившись, закрыл рот, веки его открылись, глаза секунду-другую тупо смотрели в потолок, затем, хотя он все еще не повернул головы, белки его вдруг задвигались, и он, так и не шелохнувшись, уставился прямо на дядю – лежал и смотрел.

– Ну что, старик, крышка, – сказал дядя. – Натворил дел.

И тут Лукас зашевелился. Он медленно, с трудом сел, с трудом перекинул ноги через край койки и, подхватив под коленку одну ногу обеими руками, стал раскачивать ее, ворочая туда и сюда – так ворочают осевшую калитку, когда не могут открыть ее или закрыть, – охая и кряхтя, – не то чтобы откровенно,

без стеснения, во весь голос, но успокоительно, как охают и кряхтят старые люди с давнишней небольшой ломотой в суставах, такой знакомой и привычной, что она уже и не кажется болью, и, если бы они вдруг от нее излечились, им стало бы как-то не по себе, как если бы они что-то утратили, – а он слушал и смотрел, все так же возмущаясь, а теперь еще и удивляясь этому убийце, которого ждет не просто виселица, а самосуд разъяренной толпы, и он мало того что нашел время охать оттого, что у него спину ломит, он еще возится с этим, как будто ему предстоит целые годы, всю оставшуюся ему долгую жизнь чувствовать при каждом движении эту привычную боль.

– Похоже на то, – сказал Лукас. – Потому я за вами и послал. Что вы со мной собираетесь сделать?

– Я? – сказал дядя. – Ничего. Я не Гаури. И даже не Четвертый участок.

Опять все так же медленно, с трудом Лукас нагнулся и поглядел под ноги, потом, протянув руку, достал из-под койки другой башмак, снова сел прямо и, поскрипывая пружинами койки, стал медленно поворачиваться, чтобы поглядеть позади себя; тут дядя наклонился, достал его башмак с койки и бросил на пол рядом с другим. Но Лукас не стал их надевать. Потом махнул рукой, как бы отметая прочь всех Гаури, толпу, месть, костер, который ему готовят, и все остальное.

– Об этом я начну беспокоиться, когда они здесь появятся, – сказал он. – Я о законе спрашиваю. Ведь вы наш присяжный адвокат?

– А-а! – сказал дядя. – Так это районный прокурор, он пошлет тебя на виселицу или упрячет в Парчмен, а не я.

Лукас все продолжал мигать – не часто, но непрерывно. Он следил за ним. И вдруг он заметил, что Лукас вовсе и не смотрит на дядю, и, по-видимому, уже секунды две-три.

– Понятно, – сказал Лукас. – Значит, вы можете взять на себя мое дело.

– Твое дело? Защищать тебя на суде?

– Я вам заплачу, – сказал Лукас. – Насчет этого можете не беспокоиться.

– Я не берусь защищать убийц, которые стреляют человеку в спину, – сказал дядя.

И опять Лукас тем же отметающим жестом махнул темной узловатой рукой:

– Не про суд речь. Мы еще до него не дошли. – И тут он увидел, что Лукас глядит на дядю, опустив голову, глядит на него снизу вверх из-под седых, нависших, косматых бровей пронзительным, пристальным, себе на уме взглядом. Затем Лукас сказал: – Я хочу нанять кого-нибудь... – и остановился. И он, глядя на него, вспомнил одну старушку, теперь уже покойницу, старую деву, их соседку, которая носила крашеный парик и всегда держала наготове в кладовой целое блюдо домашних булочек для всех ребятишек с улицы, и вот как-то летом (ему было лет семь-восемь, не больше) она научила их всех играть в пятьсот; в жаркие летние дни с утра они сидели за карточным столом на занавешенной стороне ее веранды, и она, посплюнув пальцы, вынимала одну карту из тех, что были у нее на руках, и, положив ее на стол, конечно, отнимала руку, но не убирала совсем, а держала рядом с картой на столе, пока тот, кто ходил следующим, не выдавал каким-нибудь движением, или жестом, или торжествующим возгласом, или просто усиленным сопением, что вот он сейчас побьет эту карту и обыграет ее, тогда она быстро говорила: «Постой, я не ту карту взяла», – и тут же хватала свою карту со стола и ходила другой. Это было точь-в-точь то, что сейчас сделал Лукас. Он и до этого сидел спокойно, но сейчас он был совершенно неподвижен. Он как будто даже не дышал.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

Комната (нем.).

----

Купить: [https://tellnovel.com/ru/folkner\\_uil-yam-katbert/oskvernitel-praha](https://tellnovel.com/ru/folkner_uil-yam-katbert/oskvernitel-praha)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)